



Джеймс БЛИШ

ПОВЕРХНОСТНОЕ
НАТЯЖЕНИЕ

Джеймс Блиш

Поверхностное натяжение

«Издательство АСТ»

1954, 1956, 1957, 1958, 1965, 1970, 1972

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Coe)-44

Блиш Д. Б.

Поверхностное натяжение / Д. Б. Блиш — «Издательство АСТ»,
1954, 1956, 1957, 1958, 1965, 1970, 1972

ISBN 978-5-17-115632-9

Джеймс Блиш (1921–1975) – представитель «золотого века» американской фантастики, обладатель «Хьюго» за роман «Дело совести», автор множества оригинальных идей, вдохновивших фантастов 1960–1970-х.

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-115632-9

© Блиш Д. Б., 1954, 1956, 1957, 1958,
1965, 1970, 1972

© Издательство АСТ, 1954, 1956, 1957,
1958, 1965, 1970, 1972

Содержание

Дело совести	6
Предисловие ко второму изданию	6
Книга первая	8
I	8
II	13
III	20
IV	24
V	30
VI	35
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Джеймс Блиш

Поверхностное натяжение

© James Blish, 1954, 1956, 1957, 1958, 1965, 1970, 1972

© Перевод. В. Миловидов, 2020

© Перевод. А. Гузман, 2020

© Перевод. Т. Перцева, 2020

© Перевод. Н. Галь, наследники, 2020

© Перевод. Р. Рыбкин, наследники, 2020

© Перевод. А. Битов, наследники, 2020

© Перевод. К. Круглов, 2020

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

Дело совести

Посвящается Ларри Шоу

Поведаю я диспозицию уличную Рима со дня основания города сего... а во второй части поведаю вам я о святости места сего наихристианнейшего. Лишь то запечатлит перо мое, что в хрониках нахожусь или что собственными зрил очами.

Джон Кэпгрейв. «Услада паломникам»

Человек задумается, единственно если воспрепятствовать ему действовать.

Жан-Жак Руссо

Человек созидает, единственно если свершение действия прибавляет к его загадке.

Джеральд Хэрд

Предисловие ко второму изданию

Роман этот не о католицизме, но поскольку главный герой его – католический теолог, то книга неизбежно содержит ряд моментов, довольно болезненных для приверженцев католического и (в меньшей степени) англиканского вероисповедания. Читатели же, лишённые доктринальных предубеждений, вряд ли вообще обратят на эти моменты особенное внимание – не говоря уж о том, чтобы вознегодовать.

При написании романа я предполагал, что как обряды, так и вероучение римской католической церкви в течение века претерпят определенные метаморфозы, существенные и не очень. Публикация книги в Америке показала, что католики не имели бы ничего против моего Басрского Собора, против того, как я воспроизвел всю небезызвестную изящнейшую дискуссию, с пупков начиная и геолого-палеонтологическими данными заканчивая, и как разделался с тонзурой; но по двум позициям они не позволили бы мне хоть на шаг отступить от того, что можно найти в «Католической энциклопедии» 1945 года издания. (Ни один ученый до сих пор почему-то не возмутился тем, как я разделался к 2045 году с частной теорией относительности.) И вот о каких позициях речь.

Первое. Я предположил, что к 2050 году обряд экзорцизма станет анахронизмом далекого Средневековья, и даже в духовных семинариях обучать ему будут лишь формально – настолько, что изгонять беса не придет в голову даже иезуиту; особенно в ситуации, когда экзорцизм приходит на ум в последнюю очередь, да и вообще едва ли уместен. Но даже в наше время не-католики, как правило, не верят, что церковь до сих пор практикует экзорцизм; он кажется примитивней и утрированное даже рясы и тонзуры, чья родословная также восходит к XIII веку. Тогда же, например, было принято звонить в специальным образом освященные колокола, дабы разогнать грозные тучи; это больше не практикуется, а потому, на мой взгляд, более чем допустимо предположить, что к 2050 году экзорцизм станет обрядом столь же рудиментарным.

Второе. Я предположил, что к 2050 году достаточно осведомленный мирянин будет вправе соборовать – как, например, в наше время крестить. Разумеется, сегодня это еще не так – и, надеюсь, мое раздражение критиками, полагающими, якобы по лености своей я считаю, будто все уже обстоит именно так, простительно. Эти любители от теологии забывают,

что поначалу ни одно из таинств не могло отправляться иначе как священнослужителем; и тот факт, что соборование поныне пребывает в той же категории, – отнюдь не данность, а результат упорной борьбы, что ведется церковью вот уже немало веков. Аналогичная борьба, только по поводу крещения, была незамедлительно проиграна, и поражение это было неизбежно во времена, когда численность населения мала, смертность высока, а эпидемии часты – так что приходится признать драгоценность каждой души с момента появления на свет. Сегодня и (к моему величайшему опасению) завтра нашему перенаселенному неомальтузианскому миру с нашим коллективным ангелом смерти – бескрылым, безликим и с очень длинными руками – грозят жертвы столь массовые, что никакой популяции священнослужителей не отпеть всех безвременно усопших; а поскольку я все же считаю церковь учреждением, в основе своей скорее милосердным (хотя зачастую может показаться и наоборот), то предположил, что к 2050 году в вопросе о соборовании та пойдет на уступки.

Разумеется, любой вправе не согласиться с моей логикой; надеюсь только, мне не будут приводить в пример доктрину 1945 года как самодостаточную вплоть до 2050-го.

Многие из писавших мне считают, что заключению главного героя о природе Литии вовсе не обязательно полагалось быть именно таким; но мне было лестно получить несколько писем от теологов, осведомленных – очевидно, в отличие от большинства моих корреспондентов – о нынешней позиции католической церкви в вопросе о множественности миров. (Как обычно, церковь как институт куда дальновидней большинства своих отдельно взятых приверженцев.) Вместо того чтобы оправдывать прорыв в моем герое манихейства – причем словами в основном его же собственными, – я позволю себе сослаться на мнение мистера Джеральда Хэрда, лучше всех подытожившего ситуацию (чего и следовало ожидать от писателя столь талантливого, да еще теологически образованного).

Если – как предполагает ныне большинство астрономов, и среди них иезуиты – существует множество планет, на которых есть разумная жизнь, «любая из таких планет (в Солнечной системе или за ее пределами) должна относиться к одной из трех категорий:

а) Планета населена существами разумными, но душой не наделенными; следовательно, обращению в истинную веру те не подлежат, но отношение к ним сочувственное.

б) Планета населена существами разумными, наделенными душой и падшими вследствие греха первородного, но не всенепременно родового; следовательно, те подлежат обращению в истинную веру, причем с чрезвычайным миссионерским милосердием.

в) Планета населена существами разумными и наделенными душой, но не ведавшими грехопадения; следовательно, те:

1) населяют безгрешный мир-рай;

2) значит, входить в контакт с ними должно не с целью пропаганды, а дабы вызнать (о чем мы можем только догадываться), как живут существа, не лишившиеся благодати, в абсолюте наделенные всеми достоинствами, бессмертные и совершенно счастливые, ибо непрерывно сознают Божественное присутствие и сопричастность».

По-моему, нельзя не заметить (вслед за Руис-Санчесом), что Лития не относится ни к одной из этих трех категорий; отсюда и все нижеследующее.

Автор же, хотелось бы добавить, вообще агностик и какой-то определенной позиции в данном вопросе не придерживается. Замысел его заключался в том, чтобы написать о человеке, а не о вероучении.

Джеймс Блиш, «Эрроухэд».

Милфорд, Пенсильвания, 1958 г.

Книга первая

I

Каменная дверь оглушительно хлопнула. Это мог быть только Кливер; не нашлось еще двери столь тяжелой или хитроумно запирающейся, чтоб он не сумел хлопнуть ею с грохотом, предвещающим Судный день. И ни на одной планете во всей Вселенной не было атмосферы столь плотной и влажной, чтобы грохот этот приглушить – даже на Литии.

Отец Рамон Руис-Санчес, уроженец Перу, строго блюдуший четыре полагающихся иезуитскому монашеству обета, продолжал чтение. Сколько еще пройдет, пока нетерпеливые пальцы Пола Кливера управятся со всеми застежками лесного комбинезона... а проблема-то тем временем остается. Проблема уже больше века от роду – впервые сформулирована в 1939 году, но церкви до сих пор как-то не по зубам. И дьявольски сложна (наречие из официального лексикона, подобранное буквалистски точно и понимания требующее буквального). Даже роман, в котором она выдвигается, внесен в «индекс экспургаториус» и доступен духовным изысканиям Руис-Санчеса только благодаря принадлежности к ордену.¹

Он перелистнул страницу, краем уха слыша топот и бормотание в тамбуре. Текст тянулся и тянулся, становясь чем дальше, тем запутаннее, зловещее, неразрешимее.

«...Магравий угрожает Аните домогательствами Суллы – дикаря-ортодокса (и главаря дюжины наемников, сулливани), желающего свести Фелицию с Григорием, Лео Вителлием и Макдугаллием, четырьмя землекопами, – если Анита не уступит ему, Магравию, и не усыпит в то же время подозрений Онуфрия тем, что станет исполнять с ним супружеский долг, когда последний того пожелает. Анита, заявляющая, будто обнаружила кровосмесительные посягательства Евгения с Иеремией...»

Тут он опять потерял нить. Евгений с Иеремией... А, да – в самом начале они упоминались как «филадельфийцы», adeпты братской любви (и тут очередное преступление кроется, двух мнений быть не может), состоявшие в близком родстве и с Фелицией, и с Онуфрием; последний – муж Аниты и, очевидно, главный местный злодей. К Онуфрию же, кажется, воцелел Магравий, подстрекаемый домогаться Аниты рабом Маурицием – похоже, с потакания самого Онуфрия. Правда, Анита прослышала об этом от своей камеристки, Фортиссы, что сожительствовала (по крайней мере, когда-то) с Маурицием и имела от него детей – так что подходить к изложенной истории следовало с особой осторожностью. Да и вообще, признание Онуфрия, с которого все началось, было исторгнуто под пыткой – которой он, правда, согласился подвергнуться добровольно; но все же под пыткой. Что до связи Фортисса – Мауриций, та представлялась еще гипотетичней; собственно, это не более чем предположение комментатора, отца Уэйра...

– Рамон, помоги, пожалуйста, – позвал вдруг Кливер. – Мне тут не распутаться и... нехорошо.

Биолог-иезуит отложил роман и, встревоженный, встал: от Кливера подобных признаний слышать еще не доводилось.

Физик сидел на плетеном тростниковом пуфе, набитом мхом наподобие земного сфагнума, и пуф трещал под его весом. Из комбинезона Кливер выбрался только наполовину, а бледное лицо сплошь покрывали бисеринки пота, хотя шлем уже валялся в стороне. Короткие, мясистые пальцы неуверенно теребили молнию, застрявшую между слоями стекловолоска.

¹ *Index Expurgatorius* (лат.) – «очистительный список» (список литературы, запрещенной католической церковью).

– Пол! Ну что ж ты сразу не сказал, что заболел? Отпусти молнию, так еще больше клинит. В чем дело?

– Сам не знаю, – тяжело выдохнул Кливер, но молнию выпустил. Руис-Санчес присел рядом на корточки и принялся вправлять бегунок на место, зубчик за зубчиком. – Забрел в самую гущу джунглей, искал там новые выходы пегматита. Была у меня одна давняя мысль, насчет лоцман-травы... ну, которая растет там, где много трития... в промышленных масштабах.

– Не дай-то бог, – пробормотал под нос Руис-Санчес.

– Чего? В любом случае, все без толку... ящерицы одни, попрыгунчики там, всякая обычная нечисть. А потом напоролся... на ананас, что ли... и один шип проткнул комбинезон... и оцарапал. Я было подумал, ничего серьезного, но...

– Зря, что ли, мы паримся в этой стеклодряни? Ну-ка, посмотрим, что там у тебя такое. Давай, подними ноги, снимем сапоги... Ого, где это тебя так...? Да, посмотрится, надо сказать, впечатляюще. На что еще жалуемся?

– Саднит во рту.

– Открой, – скомандовал иезуит.

Когда Кливер подчинился, стало ясно, что жалобу его смело можно считать преуменьшением года: всю слизистую обсыпали пренеприятные на вид и наверняка весьма болезненные язвочки с четко очерченными – будто крошечными формочками для печенья – краями.

От комментариев биолог воздержался и постарался придать лицу выражение, вербально формулируемое словами вроде: «Можете идти». Если физику непременно нужно преуменьшать серьезность недомогания, Руис-Санчес ничего не имеет против. Не стоит на чужой планете лишать человека привычных защитных механизмов.

– Пошли в лабораторию, – сказал Руис-Санчес. – У тебя там какое-то воспаление.

Кливер поднялся и, не слишком твердо ступая, проследовал за иезуитом. В лаборатории Руис-Санчес снял с нескольких язвочек мазки, растер по предметным стеклам и погрузил в краситель. Пока шло окрашивание по Грамму, он убивал время, отправляя старый ритуал: фокусировал зеркальце микроскопа на блестящем белом облаке за окном. Когда прозвенел таймер, Руис-Санчес взял первое стекло, промыл, прокалил, высушил и вставил в держатель.

Как он и опасался, бацилл и спирохет, характерных для обычной язвенно-некротической ангины Венсана – на которую указывала вся клиническая картина и которая прошла бы за ночь после таблетки спектросигмина, – биолог увидел в окуляр всего ничего. Микрофлора рта у Кливера была в порядке, разве что несколько активизировалась из-за воспаления.

– Сделаю-ка я тебе укол, – мягко произнес Руис-Санчес – А потом давай-ка сразу на боковую.

– Вот уж дудки, – отозвался Кливер. – У меня и так дел, наверно, раз в десять больше, чем можно разгрести, и то если ни на что не отвлекаться.

– Болезнь всегда не вовремя, – согласился Руис-Санчес. – Но если с работой и так завал, один-два дня погоды не сделают.

– А что у меня? – спросил с подозрением Кливер.

– Ничего, – едва ли не с сожалением отозвался Руис-Санчес – В смысле, ничего инфекционного. Но «ананас» крепко тебе удружил. На Литии почти у всех растений этого семейства листья или шипы покрыты ядовитыми для нас полисахаридами. Гликозид, который сегодня тебя подкосил, судя по всему, ближайший родственник того, который встречается в нашем морском луке. Короче, по симптомам оно у тебя сильно напоминает язвенно-некротическую ангину, только протекает гораздо тяжелее.

– И надолго это? – поинтересовался Кливер. По привычке он артачился, но явно уже намеревался пойти на попятную.

– На несколько дней – пока не выработается иммунитет. От гликозидного отравления я тебе вколю специальный гамма-глобулин; на какое-то время полегчает, а там и свои антитела вырабатываться начнут. Но пока суд да дело, Пол, лихорадить будет сильно; и мне придется держать тебя на антипиретиках – в здешнем климате лихорадка смертельно опасна... в буквальном смысле.

– Знаю, знаю, – проговорил Кливер уже спокойно. – И вообще, чем больше узнаю об этой планете, тем менее склонен голосовать «за», когда дело дойдет до голосования. Ну, где там твой укол – и аспирин? Наверно, мне надо бы радоваться, что это не бактериальная инфекция – а то змеи тут же напичкали бы меня своими антибиотиками под завязку.

– Вряд ли, – отозвался Руис-Санчес. – Не сомневаюсь, у литиан найдется более чем достаточно лекарств, которые нам в конечном итоге сгодятся, но разве что в конечном итоге; а пока можешь расслабиться – их фармакологию нам еще предстоит изучать с азов. Ладно, Пол, шагом марш в гамак. Минут через десять ты пожалеешь, что не умер прямо на месте, это я тебе обещаю.

Кливер криво усмехнулся. Покрытое бисеринками пота лицо под грязно-светлой шапкой густых волос даже сейчас казалось высеченным из камня. Он поднялся и сам, демонстративно, закатал рукав.

– А уж как проголосуешь ты, можно не сомневаться, – заметил он. – Тебе ведь нравится эта планета, да? Настоящий рай для биолога, как я погляжу.

– Нравится, – подтвердил священник, улыбаясь в ответ.

Кливер направился в комнатушку, служившую общей спальней, и Руис-Санчес последовал за ним. Если не считать окна, комнатка сильно смахивала на внутренность кувшина. Плавные изогнутые, без единого стыка стены были из какого-то керамического материала, который никогда не запотевал и не казался на ощупь влажным; но и совсем сухим, впрочем, тоже. Гамаки подвешивались к крюкам, врастающим прямо в стены, словно весь домик, с крюками вместе, был целиком вылеплен и обожжен из единого куска глины.

– Тут явно не хватает доктора Мейд, – произнес Руис-Санчес. – Она была бы в полном восторге.

– Терпеть не могу, когда женщины лезут в науку, – невпопад отозвался Кливер со внезапным раздражением. – Никогда не поймешь, где у них кончаются гипотезы и начинаются эмоции. Да и вообще, что это за фамилия – Мейд?

– Японская, – ответил Руис-Санчес. – А зовут ее Лью. Семья следует западной традиции и ставит фамилию после имени.

– А... – так же внезапно Кливер потерял к вопросу всякий интерес – Собственно, мы говорили о Литии.

– Ну, не забывай, до Литии я вообще никуда не летал, – проговорил Руис-Санчес – Подозреваю, я был бы в восторге от любой обитаемой планеты. Бесконечная изменчивость форм жизни, вездесущая изощренность... Удивительно... Полный восторг.

– И чем тебе мало... изменчивости с изощренностью? – поинтересовался Кливер. – Зачем еще Бога примешивать? Смысла, по-моему, никакого.

– Наоборот, только это и придает смысл всему прочему. Вера и наука отнюдь не исключают друг друга – совсем наоборот. Но если во главу угла поставить научный подход, а веру исключить вовсе, если встречать в штыки все, что строго не доказуемо, то не останется ничего, кроме череды пустых телодвижений. Для меня заниматься биологией – это... все равно что свершать религиозный обряд, ибо я знаю, что все сущее сотворено Богом, и каждая новая планета, со всем, что на ней, это очередное подтверждение Его всемогущества.

– Человек убежденный, одно слово, – пробормотал Кливер. – Как и я, впрочем. К вящей славе человека, вот как я сказал бы.

Он грузно растянулся в гамаке. Выдержав для приличия паузу, Руис-Санчес взял на себя смелость уложить на сетку свесившуюся наружу – вероятно, по забывчивости – ногу. Кливер ничего не заметил. Начиная действовать укол.

– Абсолютно согласен, – сказал Руис-Санчес. – Но это лишь полцитаты. Кончается же так: «...и к вящей славе Божией».²

– Только проповедей не надо, святой отец, – восторженно воскликнул Кливер и добавил тоном ниже: – Прости, я не хотел... Но для физика это не планета, а сущий ад. Принеси все-таки аспирин. Меня знобит.

– Конечно.

Руис-Санчес поспешно вернулся в лабораторию, смешал в изумительной литианской ступке салицилово-барбитуратную пасту и сформовал таблетки. (В здешней влажной атмосфере хранить таблетки невозможно; слишком они гигроскопичны.) Жалко, не поставить на каждую клейма «Байер» (если панацеей для Кливера является аспирин, пусть лучше думает, будто его и принимает) – где же тут возьмешь трафарет? Священник отправился в спальню, неся на подносе две таблетки, кружку и графин воды, очищенной фильтром Бекерфелда.

Кливер уже спал – Руис-Санчесу с трудом удалось его растолкать. Неудобно, конечно, однако – что поделаешь; зато проснется на несколько часов позже – и ближе к выздоровлению. Как бы то ни было, Кливер едва ли осознал, что глотает таблетки, и вскоре опять задышал тяжело и неровно.

Руис-Санчес вернулся в тамбур и принялся исследовать лесной комбинезон. Найти проеху от давешнего шипа оказалось несложно, залатать ее вообще будет раз плюнуть. По крайней мере, гораздо легче, чем убедить Кливера, что от выработанного на Земле иммунитета здесь проку ни малейшего, а посему не стоит почем зря напарываться на всякие там шипы. «Интересно, – думал Руис-Санчес, – как там наши коллеги-комиссионеры? Их тоже еще надо убеждать?»

Растение, что так его подкосило, Кливер назвал «ананасом». Любой биолог мог бы сказать Кливеру, что даже земной ананас – штука небезопасная и съедобная только в силу непонятного, но крайне удачного каприза природы. А на Гавайях, насколько помнилось Руис-Санчесу, тропический лес непроходим без плотных штанов и тяжелых сапог. Даже на «доуловских» плантациях густые заросли неукротимых ананасов могут в кровь изодрать незащищенные ноги.³

Иезуит перевернул комбинезон. Заклинившая молния была из пластика, в молекулу которого вводились свободные радикалы всевозможных земных противогрибковых соединений, в основном тиолутина. К препарату этому литианские грибки относились с должным почтением, но сама молекула пластика при местной влажности и жаре нередко спонтанно полимеризовалась, что и произошло на сей раз: один из зубцов напоминал теперь зернышко воздушной кукурузы.

Пока Руис-Санчес трудился над молнией, успело стемнеть. Раздалось приглушенное фырканье, и во всех углах вспыхнули теплые желтые огоньки. Горел природный газ, запасы которого на Литии были поистине неисчислимы. Специально зажигать горелки не требовалось: начав поступать, газ адсорбировался катализатором, и вспыхивало пламя. Если требовался свет поярче, в пламя вдвигалась известковая калильная сетка на поставце из огнеупорного стекла; однако священник больше любил тускло-желтое освещение, которое предпочитали сами литиане, и ярким светом пользовался только в лаборатории.

² Ad maiorem dei gloriam (лат.) – к вящей славе Божией (девиз ордена иезуитов). Наиболее распространенная парафраза – ad maiorem hominis gloriam (к вящей славе человеческой).

³ «Доул» – крупная фирма-экспортер тропических фруктов.

Разумеется, совсем без электричества земляне обходиться не могли и вынуждены были время от времени задействовать свои генераторы. Об электродинамике литиане знали сравнительно мало – зато их электростатика значительно опережала земную. Природных магнитов на планете не было, и магнетизм литиане открыли буквально за несколько лет до прилета комиссии. Явление наблюдали не в железе (его на планете практически не встречалось), а в жидком кислороде, из которого не так-то легко изготовить сердечник генератора.

По земным меркам достижения литианской цивилизации выглядели откровенно странно. Двенадцатифутовые разумные рептилии соорудили несколько больших электростатических генераторов и превеликое множество маломощных, но не имели ничего даже отдаленно напоминающего телефон. Практические познания их об электролизе превосходили земные, но передача тока, например, на милю считалась выдающимся техническим достижением. Электромоторов в земном понимании у них не было, зато всюду летали межконтинентальные реактивные транспорты, движимые статическим (!) электричеством. Кливер говорил, будто бы понимает, в чем дело; Руис-Санчесу же не было понятно ничего (а когда Кливер начинал распространяться про электрон-ионную плазму и разогрев индукцией на радиочастотах – и того меньше).

Литиане развернули совершенно изумительную радиосеть, узлы которой, в числе прочего, служили навигационными маяками, отслеживая всю динамику в реальном времени и привязываясь (вот живое воплощение парадоксального литианского гения!) к дереву. При всем этом с электронно-лучевыми трубками до сих пор разве что в лабораториях возились, а теория атомизма была не сложнее демокритовской.

Частично парадоксы эти можно было, разумеется, объяснить тем, чего на Литии не хватало. Подобно любой крупной вращающейся массе, Лития обладала магнитным полем – но как тут откроешь магнетизм, если на планете фактически нет железа. С явлением радиоактивности литиане не сталкивались – по крайней мере, до прибытия землян, – что объясняло смутную атомную теорию. Подобно древним грекам, литиане обнаружили, что трение шелка о стекло порождает один вид энергии или заряда, а шелка об янтарь – другой; от этого они пришли к генераторам ван де Граафа, электрохимии и реактивным самолетам на статическом электричестве – но, в отсутствие подходящих металлов, до мощных аккумуляторов дело не дошло, а электродинамика как наука только-только зарождалась.

Но в тех областях, где стартовые условия оказались благоприятней, литиане добились впечатляющих успехов. Несмотря на плотную облачность и постоянно висящую в воздухе мелкую морось, наблюдательная астрономия была развита превосходно – за что благодарить следовало местную луну, рано обратившую внимание литиан вовне. Это, в свою очередь, объясняло хороший задел в оптике – и сногшибательные, иначе не скажешь, успехи в обработке стекла. Химия их взяла все, что могла, как из морей, так и джунглей. Океан давал агар-агар, йод, соль, рассеянные в воде металлы – не говоря уж о пищевых продуктах. А джунгли обеспечивали почти всем остальным: резиной, древесиной любой твердости, пищевыми и эфирными маслами, натуральными волокнами, фруктами и орехами, танином, красками, лекарствами, пробкой, бумагой. Почему-то – и никак было не взять в толк, почему – охота не практиковалась. У иезуита сложилось впечатление, будто дело в некоем религиозном запрете, – однако религии у литиан не было и в помине; да и многих морских животных они ели без малейших угрызений совести.

Он со вздохом уронил комбинезон на колени, хотя деформированный зубец еще требовал долгой шлифовки. Снаружи, в обволакивающей дом влажной темноте, Лития давала концерт по полной программе. Монотонное гудение, перекрывавшее почти весь доступный человеческому уху диапазон частот, звучало как-то по-новому. Гудели неисчислимые скопища насекомых: вдобавок к привычным шуршанию, стрекоту и жужжанию, многие издавали прон-

зительные, едва ли не птичьи трели. В некотором смысле это было удачно, поскольку птиц на Литии не водилось.

«Не так ли, – думал Руис-Санчес, – звучал Эдем до того, как в мир пришло зло?» По крайней мере, слышать такие песни в родном Перу ему не доводилось.

Угрызения совести – вот с чем, собственно, ему следует разбираться, а не с лабиринтами таксономии, которые непроходимо перепутались еще на Земле, задолго до эры космических полетов, до того, как каждая новая планета стала добавлять к лабиринту по витку, а каждая звезда – по новому измерению. То, что литиане двуноги, происходят от рептилий, отдаленно родственны сумчатым и имеют систему кровообращения, как у земных пернатых, – все это не более чем интересно из общих соображений. А вот то, что их могут мучить угрызения совести – если, конечно, могут, – вот это жизненно важно.⁴

Взгляд его упал на стенной календарь – иллюстрированный, извлеченный Кливером из багажа еще по прибытии; девица на картинке смотрелась непредвиденно скромно – из-за больших блестящих пятен оранжевой плесени. Сегодня было 19 апреля 2049 года. Почти Пасха; самое наглядное напоминание, что для внутренней жизни тело – лишь покров. Тем не менее лично для Руис-Санчеса год значил ничуть не меньше, чем дата, поскольку следующий, 2050-й, будет Святым годом.

Церковь вернулась к древнему обычаю, впервые официально признанному Бонифацием VIII в 1300 году, – объявлять великое всепрощение только раз в полвека. Если Руис-Санчеса в следующем году не будет в Риме, когда отворится святая дверь, – больше на его веку такого не повторится.

«Торопись! Торопись!» – нашептывал некий внутренний демон. Или то был голос совести? Что, если грехи его уже настолько обременительны (а сам он об этом и не подозревает), что паломничество необходимо, причем жизненно. Или это он, в свою очередь, поддался греху гордыни?

Как бы то ни было, работа должна идти своим чередом. Их четверых послали на Литию – определить, годится ли планета для установки пересадочной станции, и не сопряжено ли строительство с риском для литиан или землян. Как и Руис-Санчес, остальные трое членов планетографической комиссии были в первую очередь учеными; но он-то знал, что его рекомендация будет в конечном итоге опираться на совесть, а не на таксономию.

А совесть, как и сотворение мира, негоже торопить. Ее даже не подчинишь расписанию.

Озабоченно скривившись, он буравил невидящим взглядом недочиненный комбинезон, пока из спальни не донесся стон Кливера. Тогда Руис-Санчес поднялся и вышел, оставив тамбур негромкому шипению газовых огней.

II

Сквозь овальное окно дома, отведенного Кливеру и Руис-Санчесу, открывался вид на коварно пологий склон, уходящий к едва различимой южной оконечности Нижней бухты, что составляла часть Сфатского залива. Весь берег представлял собой соленую топь – как и почти любое литианское побережье. В прилив море растекалось на добрую половину прилегающей равнины, затопляя даже самые возвышенные места, по меньшей мере, на ярд. В отлив – как, например, сейчас – на симфонию джунглей накладывался отчаянный лай земноводных рыб, зачастую доброго десятка сразу. Когда облака не застилали маленького диска луны и город предстал в необычно ярком освещении, можно было углядеть растянувшийся в прыжке силуэт какой-нибудь амфибии или сигмой змеящийся в иле след литианского крокодила, что

⁴ Таксономия – теория классификации и систематизации сложно-организованных областей действительности, имеющих обычно иерархическое строение (органический мир, объекты географии, геологии, языкознания, этнографии и т. д.).

преследовал добычу чересчур резвую, но которую все равно когда-нибудь обязательно нагонит – за ничтожно малое по геологическим меркам время.

Еще дальше – обычно невидимый даже днем из-за вечного тумана – лежал противоположный берег Нижней бухты, такой же равнинный и полузатопленный, плавно переходящий в джунгли, что тянулись уже без перерыва на сотни миль к северу, до самого экваториального моря.

А из окон спальни открывался вид на город, Коредеш-Сфат, столицу гигантского южного континента. Как и у всех литианских городов, самой примечательной его характеристикой, с точки зрения землянина, была полная неприметность. Низкие домики, сформованные из набранной тут же глинистой почвы, сливались с землей, ничем не выдавая себя даже наметанному глазу опытного наблюдателя.

Большинство старых зданий были прямоугольными и без известкового раствора складывались из блоков прессованной земли. С течением десятилетий блоки утрамбовывались все плотнее и плотнее, и в конце концов, если здание становилось ненужным, оказывалось проще оставить его без толку стоять, чем сносить. Впервые земляне почувствовали себя на Литии несколько неуютно, когда Агронски пришла в голову злополучная мысль: вызваться снести одно из таких сооружений с помощью ТДХ, неизвестной литианам взрывчатки-гравиполяризатора, взрывная волна от которой, распространяясь в заданной плоскости, как масло резала даже стальные балки. Огромный толстостенный пакгауз, о котором шла речь, стоял вот уже три литианских века – 312 земных лет. Взрыв произвел чудовищный грохот и учинил массовый переполох; но, когда пыль рассеялась, пакгауз стоял, даже не покосившись.

Новые строения бросались в глаза при ярком солнце; дело в том, что примерно полвека назад литиане начали применять в строительстве свои широчайшие познания в керамике. Такие дома могли принимать совершенно произвольные квазибиологические формы – не то чтобы совсем аморфные, но и ни на что конкретное не похожие; больше всего они напоминали загадочные конструкции из вареных бобов, некогда грезившиеся земному художнику Сальвадору Дали. Будучи сооружен по вкусу владельца, ни один дом не напоминал соседних – но при этом ухитрялся отражать характер литианского общества в целом и той земли, от которой произошел. Впрочем, и новые дома ничем не выделялись бы на фоне джунглей, не будь они покрыты глазурью, которая ослепительно блестела – в редкие солнечные дни и если смотреть под правильным углом. При первых наблюдениях с воздуха именно этот переменчивый блеск подсказал землянам, где в бесконечных литианских джунглях кроется разумная жизнь. А что разумная жизнь на Литии есть, никто и не сомневался: планета испускала мощнейшие радиоимпульсы, которые улавливались далеко в космосе.

Направляясь к гамаку Кливера, Руис-Санчес в десятитысячный, по меньшей мере, раз бросил взгляд на город. Для священника Коредеш-Сфат был все равно что живое существо; ни разу столица не представилась ему одинаковой. Руис-Санчес находил город исключительно прекрасным. А также исключительно странным – уж насколько непохожи друг на друга земные города, но этот отличался от них от всех.

Он проверил у Кливера дыхание и пульс. Те оказались необычно учащенными – даже для Литии, где высокое парциальное давление атмосферного углекислого газа повышало у землян «пэ-аш» крови и стимулировало дыхательный рефлекс. Тем не менее священник решил, что опасности это не представляет – пока не увеличилось потребление кислорода. Пусть лучше Кливер спит, хоть и беспокойно; нечего тревожить зря.

Конечно, если вдруг в город забредет дикий аллозавр... Но это ничуть не более вероятно, чем если бы в самый центр Нью-Дели забрел дикий слон. Возможно, спору нет, возможно – только почти никогда не случается. А других опасных животных – по крайней мере, способных вломиться в запертый дом, – на Литии просто нет. Даже крысам – точнее, весьма многочисленным яйценосным сумчатым, здешнему аналогу крыс – в керамический дом не проникнуть.

Руис-Санчес сменил воду в графине, поставленном в нишу подле изголовья кливеровского гамака, вернулся в тамбур и облачился в сапоги, плащ и непромокаемую шляпу. Стоило отворить каменную дверь, и волной нахлынули звуки ночной Литии, а порыв морского ветра вместе с ключьями пены принес характерный галогенный запах, традиционно именуемый соленым. Моросил мелкий дождь, и каждый фонарь был окружен пляшущим ореолом. Вдалеке медленно скользил по воде огонек. Возможно, колесный рейсовый каботажник направлялся на Иллит – огромный остров посреди Верхней бухты на границе Сфатского залива и экваториального моря.

Выйдя наружу, Руис-Санчес повернул штурвальчик запора, и с трех сторон двери выдвинулось по засову. Достав из кармана плаща кусок мягкого местного мела, он вывел на специальной табличке под козырьком литианские символы, означающие «Здесь больной». Этого должно быть достаточно. Если кто захочет войти, дверь откроется простым поворотом колеса (о замках на Литии и слыхом не слыхивали), но литиане – также будучи животными прежде всего общественными – правила поведения соблюдали не менее неукоснительно, чем законы природы.⁵

Заперев дом, Руис-Санчес направился в центр города, к Почтовому дереву. Асфальт влажно блестел, отражая желтые овалы окон и яркий белый свет далеко отстоящих уличных фонарей. Иногда в полумраке мелькал похожий на кенгуру-переростка двенадцатифутовый литианин, и тогда они с Руис-Санчесом обменивались исполненными откровенного любопытства взглядами; но по большей части в это время улицы были пустынные. Вечерами литиане предпочитали сидеть дома – и Руис-Санчес не имел ни малейшего представления, чем они там занимаются. В овальных окнах, мимо которых шлепал в резиновых сапогах Руис-Санчес, то и дело мелькали силуэты – поодиночке, по двое, по трое. Иногда казалось, что за окнами идет оживленная беседа.

О чем бы это, интересно?

Прекрасный вопрос. На Литии не было ни преступности, ни газет, ни телефонной связи, ни искусств (которые можно было бы четко отделить от ремесел), ни массовых увеселений, ни наций, ни игр, ни религий, ни спорта, ни праздников. Не могут же литиане каждую минуту бодрствования обмениваться знаниями, вести беседы на философско-исторические темы, строить планы на завтрашний день!.. Или могут? Возможно, представилось вдруг Руис-Санчесу, они просто набиваются в эти свои дома-горшки, подобно маринованным огурцам, вялые и дряблые?.. Но не успела еще эта мысль внятно оформиться, как взгляд иезуита упал на очередное освещенное окно, силуэты за которым мельтешили весьма оживленно...

Порыв ветра швырнул в лицо холодные капли дождя. Руис-Санчес машинально ускорил шаг. Если ночь выдастся особенно ветреная, Почтовое дерево будет голосить напропалую. Вот уже оно высится перед ним, похожий на секвойю исполин – близ устья реки Сфат, которая змеится, свивая громадные кольца, в глубь континента, где впадает в Глештэк-Сфат, то есть в Кровавое озеро, угрюмо перекатывающее могучие валы.

Над речной долиной гудели ветры, и Дерево покачивалось им в такт, вибрировало едва-едва, но этого было достаточно. Стоило Дереву только шелохнуться, как корневая система его, пролегающая подо всем городом, возбуждала колебания в кристаллическом скальном основании, на котором Коредеш-Сфат покоился с незапамятных времен – примерно с тех же, что Рим на своих семи холмах. Кристаллические скальные породы отвечали на давление мощным импульсом радиоволн – принимаемых не только повсюду на Литии, но и далеко в космосе. На корабле Комиссии импульсы эти удалось засечь, когда Альфа Овна, солнце Литии, было всего

⁵ «Человек по природе – животное общественное» (правильней – «политическое»; см. Аристотель, «Политика», кн. I, 1253).

лишь яркой точкой впереди по курсу, – и четверо комиссионеров переглянулись, а в глазах у них затеплилась искорка понимания.

Вообще-то, импульсы представляли собой чистый шум. Как литиане ухитрились его модулировать – причем для передачи не только информационных сообщений, но и позывных своей удивительной навигационной сети, сигналов точного времени и многого другого, – для Руис-Санчеса был сплошной темный лес, все равно что аффинная теория; хоть Кливер и говорил, что на самом-то деле все проще пареной репы, стоит только раз понять. Вроде бы (по словам того же Кливера) разгадка крылась где-то в физике полупроводников и твердого тела; тут земляне литианам и в подметки не годились.⁶

Ряд свободных ассоциаций очередной раз прихотливо вильнул, и Руис-Санчесу, к немалому его удивлению, вспомнился теперешний «дуа́йен» земной аффинной теории, который подписывал свои труды Х. О. Петард (притом что настоящее имя его было Люсьен Дюбуа, граф Овернский). Впрочем, тут же осознал священник, ассоциация была не такой уж и вольной: граф олицетворял фактически полное отчуждение современной физики от повседневного, данного в ощущениях человеческого опыта. Графский титул – не более чем пустой звук в нынешние времена, а то и менее – передавался в семье Дюбуа как привычная приставка к фамилии, хотя политическая система, в рамках которой титул был некогда пожалован, давно отмерла, пала очередной жертвой передела Земли в рамках «катакомбной» экономики. Гордиться следовало бы скорее именем, чем титулом, ибо, углубись вдруг граф в генеалогические дебри, он мог бы отследить цепочку своих прославленных предков до XIII века включительно, когда в Англии вышло рукописное «Наставление Люсьена Уайчема в вопросах магии».

Наследие высокодуховней некуда – но Люсьен теперешний, католик-вероотступник, являл собой фигуру скорее политическую (притом что при катакомбной-то экономике политика как таковая, можно сказать, вымерла как вид): плюс ко всему прочему он носил звание Канарского прокурора – звание, бессмысленность которого, если вдуматься, тут же становилась очевидной, но зато позволявшее уклоняться от еженедельных общественных работ. На деленой-переделеной, изрытой вдоль и поперек Земле подобные таблички встречались сплошь и рядом – как правило, в непосредственной близости от крупных состояний, лежавших нынче мертвым грузом, раз биржевые спекуляции отошли в прошлое, и единственное, чем отдельно взятый простой смертный мог хоть как-то повлиять на собственное благосостояние, это вложиться в инвестиционный фонд. Былым сливкам общества оставалась единственная отдушина – безудержное потребление; причем безудержное настолько, что случись поблизости сам старик Веблен – и тот усомнился бы в правильности своих представлений о потреблении. Попытайся они хоть как-то влиять на экономику, их тут же подвергли бы жесточайшему ostracism – если и не сами господа вкладчики, то уж суровые блюстители подземных городов (где и блюсти-то, собственно, было уже почти нечего) всенепременнейше.⁷

Не то чтобы граф тунеядствовал. Последнее, что о нем было слышно – он собирался неким совсем уж эзотерическим образом дорабатывать уравнения Хэртля (то самое описание пространственно-временного континуума, которое, поглотив преобразования Лоренца-Фитцджеральда точно так же, как некогда теория Эйнштейна поглотила Ньютонову, сделало возможным межзвездные перелеты). Изю всего этого Руис-Санчес не понимал ни единого слова;

⁶ Аффинный – от латинского *affinis*, т. е. соседний, смежный. Аффинная геометрия – раздел математики, изучающий величины и геометрические объекты, остающиеся неизменными при аффинных преобразованиях, т. е. преобразованиях плоскости или пространства, при которых прямые переходят в прямые и сохраняется их параллельность (в частности преобразования подобия, параллельного переноса и вращения).

⁷ Веблен, Торстейн (30.07.1857–03.08.1929) – американский экономист, знаменитый в первую очередь трудом «Теория праздного класса» (1899), в котором применил к современной экономике эволюционную теорию Дарвина. Именно в этой работе он ввел, например, такой термин, как «потребление напоказ», до сих пор активно использующийся.

но, с усмешкой отметил он, наверно, это действительно проще пареной репы – стоит только раз понять.

В конце концов, в ту же категорию попадало практически все человеческое знание. Одно из двух: или все проще пареной репы, стоит только раз понять, или это чистой воды вымысел. Даже тут, в пятидесяти световых годах от Рима, Руис-Санчес как иезуит знал о человеческом знании нечто такое, что Люсьен Дюбуа, граф Овернский, давно забыл, а Кливер так никогда и не узнает: любое знание проходит в своем развитии через обе стадии – возвещает о своем явлении из хаоса и вновь возвращается в хаос.

В процессе – установление тончайших различий, и чем дальше, тем тоньше.

В результате – бесконечная череда катастроф теории.

В остатке – вера.

Когда Руис-Санчес ступил под теряющиеся в вышине своды полости, выжженной в основании Почтового дерева, весь зал, смахивающий на поставленное тупым концом книзу гигантское яйцо, кишмя кишел литианами. Впрочем, сходства с земным телеграфным или телефонным узлом не было ни малейшего.

По всему периметру основания «яйца» неустанно сновали высокие фигуры литиан: заскакивали внутрь, выскальзывали наружу сквозь неисчислимые отверстия-двери, менялись местами, кружили, как переходящие с орбиты на орбиту электроны. Но переговаривались они так тихо, что на фоне множества голосов слышался шум ветра в исполинских ветвях высоко над головой.

Мельтешение фигур ограничивалось, как волнорезом, высоким черным полированным ограждением – явно вырезанным из флюэмы самого Дерева. За барьером (откровенно символическим – и почему-то напомнившим священнику щель Энке в кольцах Сатурна) выстроились в довольно редкий круг несколько литиан и мерно, не сбиваясь ни на секунду, принимали и передавали сообщения; с работой они справлялись безупречно – судя по тому, как безостановочно мельтешили фигуры с внешней стороны барьера, – и без видимого усилия, полагаясь только на память. Иногда кто-нибудь из их числа оставлял рабочее место и отправлялся о чем-то переговорить к одному из множества столиков, расставленных по ту сторону барьера концентрическими кругами, причем чем ближе к плавно понижающемуся центру, тем разреженней, будто бы на вывернутом наизнанку колесе смеха, – а потом возвращался к черному барьеру или же садился за стол, а на пост вместо него заступал предыдущий хозяин стола. Пол понижался, столов становилось меньше и меньше, а в самом центре зала стоял один-единственный пожилой литианин – зажав ладонями ушные раковины, что находились сразу за тяжелыми челюстными суставами, опустив на глаза мигательные перепонки, являя миру только носовые впадины и ямки инфракрасных рецепторов над ними. Он молчал, и с ним никто не заговаривал, но все бурление водоворота за черным барьером являлось очевидным следствием этой абсолютной статичности.⁸

Руис-Санчес замер, пораженный до глубины души. Видеть Почтовое дерево внутри ему не доводилось еще ни разу в жизни – до сегодняшнего дня связью с Микелисом и Агронски, коллегами-комиссионерами, заведовал Кливер, – и теперь священник понятия не имел, что ему делать. То, что он видел, походило скорее уж на парижскую биржу, чем на центр связи в привычном понимании слова. Казалось невероятным, чтобы каждый раз, когда поднимается ветер, у стольких литиан срочно возникала надобность отправить какое-нибудь личное сообщение; столь же немыслимым представлялось, чтоб у литиан, с их стабильной экономикой всеобщего благосостояния, мог существовать сколь угодно отдаленный аналог фондовой биржи. Как бы то ни было, а выбора, похоже, не оставалось – ныряя теперь в это мельтешение, пробирайся

⁸ Флюэма (от греческого *phloios* – кора, лыко) – попросту луб, сложная ткань высушенных растений, служащая для проведения органических веществ к различным органам, а также выполняющая некоторые другие функции.

к черному полированному барьеру и проси кого-нибудь из литиан с той стороны попробовать еще раз связаться с Агронски или Микелисом. В худшем случае, подозревал Руис-Санчес, ему просто откажут или не станут даже слушать. Он сделал глубокий вдох. В тот же миг левую руку его, от локтя до плеча, цепко облапила широкая четырехпалая ладонь. С совершенно неприличным фырканьем исторгнув из легких набранный было воздух, священник крутанулся волчком и снизу вверх изумленно уставился в участливо склонившееся лицо литианина. Под внахлест сведенными, словно капканные скобы, челюстями выделялась совершенно индюшачья, но нежно-аквамаринового цвета борода, которая резко контрастировала с серебристо-сапфировым рудиментарным гребнем, пронизанным розоватыми, как тычинки фуксии, венами.

– Руис-Санчес вы, – на своем языке проговорил литианин. (Из четверых землян, только имя священника литиане умудрялись произносить, не коверкая.) – Узнаю вас по вашей накидке я.

Это была чистой воды случайность. Любого землянина, вышедшего под дождь в плаще, приняли бы за Руис-Санчеса, потому что, по мнению литиан, один Руис-Санчес всегда облачался примерно одинаково, что дома, что на улице.

– Да, это я, – отозвался Руис-Санчес, на всякий случай внутренне подобравшись.

– Штекса я, металлург; консультировали меня по химии вы, по медицине, о цели вашей миссии и еще по нескольким вопросам, незначительным.

– А... Конечно, конечно. То-то мне показался знакомым ваш гребень.

– Большая честь для меня. Раньше вас здесь не видели мы. Желаете поговорить с Деревом?

– Да, – благодарно отозвался Руис-Санчес. – Действительно, прежде мне тут бывать не приходилось. Вы не могли бы объяснить, что делать?

– Мог бы, но не поможет это, – произнес Штекса, склонив голову так, что совершенно чернильные зрачки его смотрели теперь прямо в глаза Руис-Санчесу. – Ритуал соблюдать потребно некий, очень сложный, пока в привычку не войдет. Обучаемся этому с детства мы; полагаю я, не хватит координации вам, чтобы с первой попытки вышло. Если позволите, передать сообщение за вас мог бы я...

– Буду премного обязан. Я должен связаться с нашими коллегами, Агронски и Микелисом; они в Коредещ-Гтоне, на северо-востоке, градуса тридцать два на восток и тридцать два на север...

– Да, у озер Малых отметка реперная вторая; город горшечников это, хорошо его знаю я. И что хотели бы передать вы?

– Чтоб они вылетали к нам, в Коредещ-Сфат; наше время на Литии подходит к концу.

– И меня касается это, – заявил Штекса. – Но передам я.

Литианин метнулся в водоворот фигур, и его тут же бесследно засосало; а Руис-Санчес остался стоять, в очередной раз благодаря Всевышнего, что Тот надоумил раба Своего неразумного учить безумно сложный литианский. Двое из четверых комиссионеров выказывали поистине прискорбное пренебрежение этим всепланетным языком; кливеровское: «Пускай учат английский» – успело стать классикой. Отнестись к подобному высказыванию сочувственно Руис-Санчес ну никак не мог – с учетом того, что его родным был испанский, а из пяти языков, которыми он владел свободно, больше всего нравился ему западный «хохдойч».

Агронски избрал позицию несколько более утонченную. Не в том дело, говорил он, что в литианском какое-то особенно сложное произношение (утруждать небо приходится явно не сильнее, чем в арабском или русском), просто по большому счету «невозможно толком разобратся, что составляет сущностную, неформализуемую основу столь чужого языка, так ведь? По крайней мере, за то время, что мы здесь?»

Микелис предпочитал отмалчиваться; он просто поставил себе задачу научиться читать по-литиански, и если таким образом он выучится заодно и говорить, ничего удивительного в

том не будет, ни для него самого, ни для коллег. Ко всему на свете Микелис подходил примерно так же, основательно и без излишнего теоретизирования. Что до подхода, практиковавшегося Кливером или Агронски, то в глубине души Руис-Санчес полагал, что включать в состав комиссии людей со взглядами столь ограниченными едва ли не преступно. Чтобы понять незнакомую культуру, язык абсолютно необходим; если начинать не с языка, то, интересно, с чего же?

Что же до склонности Кливера именовать литиан «змеями», то мыслями по этому поводу Руис-Санчес мог бы поделиться в лучшем случае со своим далеким духовником.

А ввиду того, что открылось его взору в яйцевидном зале, – что теперь прикажешь думать о том, как выполнял Кливер свои обязанности связиста? Разумеется, он не мог ничего через Дерево ни принять, ни передать, что бы там по ходу дела ни говорил. Весьма вероятно, он и к Дереву-то ни разу не подходил ближе, чем Руис-Санчес сегодня. Нет, само собой разумеется, как-то Кливер должен был с Микелисом и Агронски связываться – запрятал там в багаже где-нибудь передатчик и... Да нет, какой еще передатчик. Руис-Санчес, конечно, не физик; но и ему понятно, что для потенциальных радиолюбителей Лития суший ад – раз эфир на всех частотах забит чудовищной мощности импульсами, исторгаемыми Деревом из кристаллического утеса. Нет, Руис-Санчес определенно начинал чувствовать себя как-то неуютно.

Из спящих вокруг фигур выделился Штекса – не гребнем своим, который успел стать таким же величественно-пурпурным, что и у большинства присутствующих, а тем, как целеустремленно двигался прямо к землянину.

– Сообщение ваше отослал я, – сразу произнес он. – В Коредеш-Гтоне зафиксировано оно. Но других землян нет там. Несколько дней уже в городе не было их.

Невозможно! Если верить Кливеру, он говорил с Микелисом не далее чем вчера.

– Вы уверены? – осторожно поинтересовался Руис-Санчес.

– Вне всяких сомнений. Пуст стоит дом, предоставленный им. Исчезли многочисленные вещи их. – Высокая фигура развела четырехпальными руками – вероятно, изображая сочувствие. – Дурное это, кажется, известие. Неприятно мне принести его вам. Исполнены добра были известия, что при первой встрече принесли мне вы.

– Спасибо большое. Не стоит беспокоиться, – рассеянно проговорил Руис-Санчес. – Нельзя же спрашивать с вестника за принесенное им послание.

– Все же, кое за что отвечает вес пик; по крайней мере, таков обычай наш, – отозвался Штекса. – Взаимосвязаны поступки все. В результате обмена нашего в проигрыше вы, насколько понимаю я. Проверено уже, что великого добра исполнены были о железе вести ваши. Удовольствие доставило бы мне продемонстрировать, как применили мы знание это, особенно ввиду вестей дурных, что принес вам ответно я. Не соблаговолите ли, коли не воспрепятствует то работе вашей, посетить жилище мое, дабы вопрос сей подробнее освещен был? Возможно ли это?

Руис-Санчес сурово подавил всколыхнувшееся было возбуждение. Наконец-то впервые появился шанс хоть что-то разузнать о личной жизни литиан – и через это, возможно, даже получить некоторое представление об их морали; о роли, что уготована им Господом в вечной драме борьбы добра со злом. А пока представления такого не получено, откуда Руис-Санчесу знать – вдруг литиане только притворяются добродетельными в этом своем Эдеме; чистый интеллект, мыслящие машины из органики, УЛЬТИМАК и хвостатые – и бездушные притом.

Но: дома у него оставался больной человек. Вряд ли, конечно, Кливер до утра проснется. Успокоительного ему закачено из расчета чуть ли не по 15 миллиграммов на килограмм веса. Правда, больные – все равно что дети малые, и закон им не писан, причем с упорством, достойным лучшего применения. Если могучий организм Кливера как-то переборет эту дозу – или если случится анафилактический шок, что вполне вероятно на ранних стадиях заболевания, – тогда надо быть с физиком рядом. По крайней мере, звук человеческого голоса Кливеру будет

необходим – на планете, которую тот терпеть не мог и которая (мимоходом, едва ли заметив, что там вообще кто-то был) свалила его с ног.

Впрочем, никакой серьезной опасности Кливеру все равно не грозит. А уж в сиделке он точно не нуждается – как сам при случае не преминул бы заметить.

Кроме того, существовала еще такая вещь, как чрезмерное рвение; каковое – что Церковь издавна (и по большей части с превеликим трудом) втолковывала чересчур благочестивым – есть форма гордыни. В худшем случае рвение это приводило к появлению госпитальных святых – чье пристрастие ко всему болезненному странным образом напоминало поклонение паразитам у некоторых индуистских сект – или столпников наподобие Святого Симеона, отвергать которых Господь, конечно, не отвергал, но популярности образа церкви в массах они ну никак не способствовали. Да и заслуживал ли Кливер, чтобы за ним ухаживали с подобным рвением как за Божьей тварью – точнее, как за тварью богобоязненной?

И притом что на карту поставлена судьба целой планеты, целого народа – нет, бери выше, тут речь идет о величайшей теологической проблеме, о неминуемом разрешении безмерной трагической головоломки первородного греха... Преподнести такой подарок святому отцу в Юбилейный год – да это было бы грандиозней, торжественней, нежели даже объявление о восхождении на Эверест во время коронации Елизаветы II Английской!

Если, конечно, изучение Литии увенчается именно этим. А поводов опасаться, что стоит Руис-Санчесу взглянуть в окружающее чуть пристальней, и на свет Божий явится нечто иное, непередаваемо ужасное, было хоть отбавляй. Опасений этих не сумела пока разрешить даже молитва. Но следует ли жертвовать пусть даже только возможностью найти ответ – ради Кливера?

Нет, недаром Руис-Санчес посвятил столько лет размышлениям именно что о проблемах морали, о делах совести; недаром наиболее одаренные из его коллег по ордену всю жизнь клали на то, чтоб искать (и находить) выход из самых запутанных этических лабиринтов. Католику вообще должно быть свойственно благочестие; а иезуиту – еще и проворство.

– Большое спасибо, – нетвердым голосом отозвался он. – С удовольствием приму ваше приглашение.

III

Голос.

– Кливер? Кливер! Да проснись ты, медведь этакий. Кливер! Какого черта, куда вы запропастились?

Кливер застонал и попытался перевернуться. При первом же движении мир начал медленно, тошнотворно покачиваться. Крупным, раскаленным градом покатился лихорадочный пот. Рот, казалось, залит горячей смолой.

– Да вставай же, Кливер! Это я, Агронски! Где святой отец? Что тут у вас стряслось? Почему вы ни разу не вышли на связь? Эй, осторожно, ты сейчас...

Предупреждение запоздало, да и все равно слов Кливер не разбирал. Он был в глубоком беспамятстве и представления не имел, где – в пространстве и во времени – находится. Пытаясь убраться подальше от надоедливой голоса, он конвульсивно дернулся и выпал из гамака. Вздвигнувшись, пол с грохотом ударил его в левое плечо, но удара и распространившегося следом онемения Кливер не почувствовал. Ноги, по-прежнему ощущавшиеся как нечто чужеродное, завили где-то далеко вверху, запутавшись в сетке.

– Какого черта...

Дробно простучали шаги, словно переспелые каштаны пробарабанили по крыше, а потом что-то глухо стукнулось об пол рядом с его головой.

– Кливер, тебе нехорошо? Полежи-ка минуточку спокойно, я тебе ноги распутаю. Майк... Майк, ты не в курсе, как в этом кувшине включается газ? Чего-то тут не так...

Секундой позже с гладких стен пролился желтый газовый свет; чуть погода зажегся ярко-белый. Подволакивая руку, Кливер прикрыл глаза и тут же утомился. Прямо над ним, пухло-щекое и обеспокоенное, маячило наподобие привязного аэростата лицо Агронски. Микелиса видно не было, и слава богу. Откуда взялся один Агронски, уже не вдруг поймешь.

– Как... какого черта... – прохрипел Кливер, с трудом разлепив губы; в уголках рта резануло острой болью. Только сейчас он осознал, что во сне губы почему-то склеились. Он даже приблизительно не представлял, как долго провалялся в отключке.

Похоже, Агронски догадался, о чем его хотели спросить.

– Мы прилетели прямо с озер, на вертолете, – произнес он. – Нам не нравилось, что вы всё молчите, и мы решили на всякий случай прибыть своим ходом, а не заказывать места на этой их трансконтиненталке, чтоб не пронюхали раньше времени, а то вдруг у них тут рыльце в пушку...

– Хватит приставать к нему, – объявил Микелис, возникая в дверях, как чертик из табакерки. – Не видишь, что ли, он дрянь какую-то подхватил. Нехорошо, конечно, радоваться болезни, но слава богу, что литиане ни при чем.

Химик – долговязый, с длинным подбородком – помог Агронски поднять Кливера на ноги. Осторожно, преодолевая боль, Кливер снова раскрыл рот. Раздался лишь неразборчивый хрип.

– Пасть закрой, – посоветовал Микелис; впрочем, вполне добродушно. – Давай положим его обратно в гамак. Интересно, куда делся святой отец? Без него нам с этой болячкой не справиться.

– Наверняка мертв! – взорвался вдруг Агронски; на лбу его выступил пот, глаза встревоженно заблестели. – Иначе б он был здесь. Майк, это заразно!

– Боксерские перчатки я как-то забыл захватить, – сухо отозвался Микелис. – Кливер, лежи тихо, а то стукну. Агронски, ты, кажется, опрокинул бутылку с водой; сходи лучше и набери, явно не помешает. И посмотри, не оставил ли святой отец в лаборатории какого-нибудь лекарства.

Агронски вышел, и Микелис зачем-то тоже – по крайней мере, за пределы поля зрения Кливера. Все силы бросив на то, чтобы превозмочь боль, Кливер снова разлепил губы:

– Майк...

Микелис тут же вернулся и стал промокать физику губы и подбородок ваткой с каким-то раствором.

– Спокойно, Пол. Сейчас Агронски принесет тебе попить. Еще немного, и ты сможешь говорить. Не торопись только.

Кливер немного расслабился. Микелису можно было доверять. Но чтобы за ним ухаживали, как за дитем малым неразумным, – вынести столь абсурдного унижения он просто не мог; он почувствовал, как по щекам у него катятся слезы бессильной ярости. В два проворных, неназойливых движения Микелис подтер их.

Вернулся Агронски, нерешительно выставив перед собой раскрытую ладонь.

– Вот что я нашел, – объявил он. – В лаборатории есть еще, а посреди стола – формочка. Да, и ступка с пестиком, но вымытые.

– Прекрасно, давай таблетки сюда, – произнес Микелис. – Еще что-нибудь?

– Нет. Хотя постой, в стерилизаторе кипятится шприц, если тебе это о чем-то говорит.

Микелис выругался, кратко и по существу.

– Говорит, – ответил он, – что где-то там зарыт нужный антидотоксин. Но если Рамон не оставил никакой записки, черта с два мы отыщем, который – молись, не молись.

Он приподнял Кливеру голову за подбородок и положил тому на язык таблетки. За таблетками последовала вода: сперва ледяной струйкой, через мгновение – хлынула жидким огнем. Кливер поперхнулся, и в тот же момент Микелис зажал ему ноздри. Таблетки скользнули в горло.

– Как там, никаких следов святого отца? – спросил Микелис.

– Ни малейших. Порядок безупречный, все оборудование на месте. Оба лесных комбинезона в шкафу.

– Может, отправился в гости к кому-нибудь, – задумчиво проговорил Микелис. – Наверняка у него уже немало знакомых литиан. Они ему нравятся.

– В гости, когда дома больной? Нет, Майк, на него это не похоже. Если, конечно, не всплыло чего-нибудь неотложного. Или вышел всего на несколько минут, и...

– И тролли лесные скопом накинулись на бедного путника, ибо позабыл тот перед мостом трижды топнуть.

– Смейся, смейся.

– Честное слово, я не смеюсь. Но на чужой планете как раз какой-нибудь такой маразм и может плохо кончиться. Правда, с трудом представляю себе, чтобы Рамон...

– Майк...

Микелис шагнул к гамаку и склонился над физиком. Слезающим глазам Кливера казалось, будто голова химика парит отдельно от тела.

– Все в порядке, Пол. Говори, в чем дело. Мы слушаем.

Но было уже поздно. Двойная доза успокоительного опередила. Кливер успел только качнуть головой, и Микелис растворился в водовороте радужных струй.

Самое странное, что он не уснул. Прошлой ночью он перехватил-таки свои законные восемь часов сна, и в самом начале этого неимоверно долгого дня был, помнится, бодр и полон сил. Как сквозь вату, доносились голоса коллег-комиссионеров, и не отпускало навязчивое желание о чем-то сообщить им прежде, чем вернется Руис-Санчес, – не то чтобы совсем уж не давая Кливеру заснуть, но определенно препятствуя погрузиться глубже легкого транса. К тому же он принял почти тридцать гран ацетилсалициловой кислоты, что увеличило потребление организмом кислорода, и довольно существенно – так что не только голова шла кругом, но и все чувства вдруг непривычно обострились. О том, что перегорает при этом белок из его собственных клеток, он не имел ни малейшего представления; а имел даже, вряд ли б это его беспокоило.

Все так же доносились голоса, и все так же ускользал от него смысл разговора. На голоса накладывались верткие обрывки снов, мелькая на самой грани яви, чудясь по-своему странно реальными – и по-своему странно бессмысленными и угнетающими. В редкие мгновения полубодрствования перед его мысленным взором мелькали планы, целая череда планов, все как один элементарно простые и в то же время грандиозные: захватить командование экспедицией; связаться с земными властями; предъявить секретные документы, неопровержимо доказывающие, что Лития необитаема; прорыть туннель подо всей Мексикой, до Перу; взорвать Литию, слить в одной исполинской реакции синтеза все атомы ее легких элементов в один атом кливерия, элемента, из которого изготовили моноблок, элемента с кардинальным числом алеф-ноль...

Агронски: Эй, Майк, выйди-ка сюда, ты читаешь по-литиански. Тут что-то написано, на табличке под козырьком.

(Шаги.)

Микелис: Написано: «Здесь больной». Вряд ли это рука кого-то из местных, слишком неумело нацарапано – эти их идеограммы позаковыристей китайских иероглифов будут. Наверно, Рамон.

Агронски: Жаль, мы не знаем, куда он пошел. Странно, как это мы не заметили надписи, когда ввалились.

Микелис: Ничего странного. Было темно; откуда мы знали, что должна быть надпись? (Шаги. Негромко затворяется дверь. Шаги. Резко, сухо скрипит набитый травой пуф.)

Агронски: Ладно, пора уже и об отчете подумать. Если я не совсем запутался с этим чертовым двадцатичасовым днем, времени у нас в обрез. Ты по-прежнему за то, чтобы планету открыть?

Микелис: Да. До сих пор мне как-то не встречалось на Литии ничего, что было бы для нас опасно. Не считая, конечно, случившегося с Кливером; но вряд ли святой отец ушел бы, будь это что-то серьезное. И чем земляне могут быть опасны для здешней цивилизации, я тоже как-то совершенно не представляю: очень уж оно тут все стабильно – в эмоциональном плане, в экономическом... да и вообще.

(«Опасность, опасность, – произнес кто-то у Кливера во сне. – Все взлетит к чертовой матери. Заговор папистов». – Тут он в очередной раз подвсплыл под перископ к яви, и страшно заболели губы.)

Агронски: Как по-твоему, почему два эти шутничка ни разу не вышли на связь после того, как мы улетели на север?

Микелис: Понятия не имею. Даже догадок не берусь строить, пока не поговорю с Рамон. Или пока Пол не начнет адекватно реагировать.

Агронски: Мне это не нравится, Майк. Что-то тут нечисто. Этот город торчит, можно сказать, в самом центре их системы связи – потому мы его и выбрали, черт побери! И при всем при том: ни единого сообщения, Кливер – в лежку, святой отец где-то шляется... Да мы ни черта еще о Литии толком не знаем, если на то пошло!

Микелис: О центральной Бразилии мы тоже ни черта не знаем – не говоря уж о Марсе или Луне.

Агронски: Не в том дело, Майк. Того, что известно о бразильском побережье, вполне достаточно, чтобы представить, чего можно ожидать в глубине материка... вплоть до этих рыбок-людоедов, как их там... а, пираний. На Литии же все не так. Откуда нам знать: то, что уже известно, – это годится для экстраполяции или какое-нибудь диковинное исключение? Где-нибудь за фасадом, который открыт глазам, вполне может скрываться нечто грандиозное, чего нам ни в жизнь не увидеть, не понять.

Микелис: Слушай, Агронски, хватит мне тут под воскресное приложение работать. Уж у тебя-то соображения должно хватать. Ну сам посуди – что это может быть за тайна такая, великая и ужасная? Что литиане людоеды? Что они – всего только скот для неведомых богов, которые живут где-то в джунглях? Что на самом деле они – хитроумно прячущие свою истинную личину всемогущие чудовища, так что мозг цепенеет, душа наизнанку выворачивается, сердце останавливается, кровь в жилах стынет, а поджилки трясутся? Стоит произнести какую-нибудь такую чушь вслух, и сразу сам понимаешь, насколько все это абсурдно; нет, страшилки эти могут пугать разве что так, ну в очень отвлеченном представлении. Я и спорить даже не стал бы, возможно эдакое или нет.

Агронски: Ну хорошо, хорошо. Я свое суждение пока приберегу. Если действительно тут все чисто – в смысле, со святым отцом и Кливером, – тогда я тебя поддержу. Согласен, не вижу причин голосовать против.

Микелис: Ну и слава богу. Рамон, можно не сомневаться, за то, чтоб объявить планету открытой, следовательно, голосование должно оказаться единогласным. Не думаю, что Кливер станет возражать.

(Кливер выступал с показаниями в битком набитом зале суда в здании Генеральной Ассамблеи ООН, драматически – но скорее скорбно, чем победно – наставив палец на Рамона Руис-Санчеса, иезуита. Но вот прозвучало его имя, и сон рассыпался как картонный домик. В

спальне слегка посветлело, за окном занимался рассвет; точнее, литианская пародия на рассвет – источающая влагу и серая, как мокрая шерсть. Он попытался вспомнить, с чем только что выступил в суде. Довод был просто убийственный, чертовски убедительный, вполне достойный того, чтобы пустить в ход наяву; но не вспоминалось ни слова. От слов осталось только ощущение, так сказать, вкус на языке, но ни тени смысла.)

Агронски: Светает. Не пора ли, наконец, на боковую?

Микелис: Ты вертолет хорошо заякорил? Если не изменяет память, ветродуй тут покруче даже, чем у нас на севере.

Агронски: Заякорил, заякорил – и брезентом накрыл. Давай-ка раскатаем гамаки... (Какой-то звук.)

Микелис: Тс-с. Что это?

Агронски: А?

Микелис: Прислушайся.

(Шаги. Едва слышные, но Кливер узнал их. С усилием разомкнув веки, он не увидел ничего, кроме потолка. Равномерно окрашенный, плавно уводящий в бесконечность купол потянул взгляд его вверх, и еще выше, снова в туманы транса).

Агронски: Кто-то идет.

(Шаги.)

Агронски: Смотри, Майк, это святой отец – вон, видишь? Вроде бы с ним все нормально. Выглядит, правда, усталым; оно и неудивительно, всю ночь шлялся черт-те где.

Микелис: Встреть-ка лучше его в дверях. Нехорошо как-то будет: он входит, а тут мы как снег на голову. Он-то нас никак не ждал. А я пойду, распакую гамаки.

Агронски: Конечно, Майк, конечно.

(Шаги удаляются. Скрип камня по камню; отпирается дверь.)

Агронски: Добро пожаловать домой, святой отец. Мы прилетели только что и... Господи, в чем дело? Или ты тоже заболел? Можем мы как-то... Майк! Майк!

(Звук бегущих шагов. Кливер дал мускулам шеи команду поднять голову, но те отказались повиноваться. Наоборот, затылок только еще глубже впечатался в жесткую гамачную подушку. После непродолжительной бесконечной муки Кливер вскричал: «Майк!»)

Агронски: Майк!

(С шумом выдохнув, Кливер перестает сопротивляться. И засыпает.)

IV

Дверь дома Штексы затворилась за священником, и тот с замиранием сердца – хотя сам вряд ли сумел бы сказать, чего такого особенного ожидает, – оглядел прихожую, залитую мягким светом. На деле же представившееся его взгляду почти не отличалось от интерьера жилища, отведенного им с Кливером; собственно, ничего иного ожидать и не приходилось, вся утварь «дома» у них была литианской – за исключением разве что лабораторного оборудования и еще кое-каких характерных приспособ, без которых землянину жизнь не в радость.

– Позаимствовали из музеев несколько железных метеоритов мы, распилили и ковкой обработали, как великодушно присоветовали вы, – говорил Штекса, пока Руис-Санчес боролся с застежками плаща и стягивал сапоги. – Как и предсказывали вы, проявляют сильные магнитные свойства они. Разослан призыв всепланетный пересылать в лабораторию электрическую нашу метеориты все железо-никелевые, где бы найдены ни были. Предсказать пытаются в обсерватории, где и когда в ближайшее время произойти падение может. К сожалению, бедна метеоритами система наша. Метеорных «ливней», о которых рассказывали вы, что часто случаются они у вас, не бывает здесь, говорят астрономы наши.

– Действительно, наверно, не бывает; я мог бы и сам догадаться, – произнес Руис-Санчес, переходя из прихожей в гостиную. Комната по литианским меркам была совершенно обычной – и абсолютно пустой.

– Догадаться? Почему?

– Потому что в нашей системе крутится своего рода гигантская мельница – кольцо из тысяч, да нет, наверно, десятков, если не сотен тысяч маленьких планеток там, где должна была быть одна большая.

– Должна? По правилу гармоническому? – спросил Штекса, усаживаясь и кивая гостью на второй такой же набитый травой пуф. – Давно интересовало нас, в самом ли деле выполняется оно.

– Нас тоже. В данном случае оно дало сбой. Все эти крошечные небесные тела постоянно сталкиваются – оттого и метеорные ливни.

– Как образоваться могла структура неустойчивая столь, не понимаю я, – проговорил Штекса. – Объяснение тому есть какое-нибудь у вас?

– Есть, но довольно посредственное, – ответил Руис-Санчес. – Некоторые считают, что много веков назад на той орбите была нормальная добропорядочная планета, которая почему-то вдруг взяла и взорвалась. Что-то похожее у нас в системе действительно случилось когда-то – со спутником одной из планет; причем из обломков вышло огромное плоское кольцо. Другие полагают, что, когда наша система формировалась, на той орбите протопланетное вещество так и не сложилось в планету. У обеих гипотез масса недостатков, но друг друга они прекрасно взаимодополняют – каждая как орешки щелкает как раз те проблемы, которые другой не по зубам; так что, наверно, и в той, и в другой есть своя доля истины.

На глазах у Штексы дрогнули мигательные перепонки; от такого «внутреннего моргания», означавшего у литиан наивысшую степень сосредоточения, Руис-Санчесу каждый раз делалось слегка не по себе.

– Похоже, что ни одной из гипотез правоту доказать невозможно однозначно, – наконец высказался тот. – В рамках логики нашей, если доказательства не существует такого, бессмысленна постановка проблемы сама.

– У этого правила нашлось бы немало сторонников и среди землян. Мой коллега доктор Кливер, например.

Неожиданно Руис-Санчес улыбнулся. Дабы одолеть литианский, пришлось изрядно покорпеть; и то, что он сумел понять столь абстрактное высказывание, – победа куда более убедительная, чем любое пополнение словарного запаса.

– Мне кажется, сбор метеоритов будет не таким уж простым делом, – проговорил он. – Вы не думали... как-то его стимулировать?

– Думали, разумеется. Понимают все, насколько важна программа эта. И стараться помочь по мере сил будут.

Священник имел в виду немного не то. Он порылся в памяти, подыскивая какой-нибудь литианский эквивалент «вознаграждению», но ничего не нашел, кроме того слова, что уже использовал – «стимул». Он вдруг понял, что не знает, как по-лителиански будет «алчность». Очевидно, что, если предложить литианам за каждый найденный метеорит по сто долларов, это их несколько озадачит. Нет, надо бы как-нибудь иначе разговор повернуть.

– Раз метеоритов падает очень мало, вряд ли вам удастся таким образом добыть достаточно железа для полномасштабных исследований – как вы там ни объединяй усилия. К тому же найденные метеориты в большинстве своем окажутся каменными. Вам нужна другая, дополнительная программа поисков железа.

– Думали уже об этом мы, – печально проговорил Штекса. – Но не приходило ничего в голову нам.

– Если бы как-нибудь выделять железо, которое у вас на планете и без того есть... Наши-то методы добычи вам не годятся, на Литии ведь нет рудных пластов. Хм-м... Штекса, как насчет бактерий – концентраторов железа?

– Бывают такие? – спросил Штекса, недоверчиво склонив голову набок.

– Не знаю. Спросите ваших бактериологов. Если есть на Литии бактерии, принадлежащие, по земной классификации, к роду *Leptothrix*, какая-то их разновидность должна концентрировать железо. За миллионы лет здешней эволюции такая мутация должна была произойти, и давно.

– Но почему с мутацией такой раньше не сталкивались мы? Притом что исследованиями бактериологическими занимались больше мы, чем любыми другими.

– Потому что не знали, что именно искать; эти бактерии должны быть здесь такими же редкими, как само железо. На Земле, где железа предостаточно, *Leptothrix Ochracea* встречаются на каждом шагу – в рудных пластах тьма-тьмущая их ископаемых оболочек. Какое-то время, кстати, считалось, что именно эти бактерии и отвечают за образование рудных пластов – в чем я лично сильно сомневался. Они получают энергию окислением железа-два до железа-три, что может происходить и спонтанно – если в растворе подходящие значения «*пЭ*-а_ш» и окислительно-восстановительного потенциала; а на эти величины могут влиять и обычные бактерии разложения. На нашей планете *Leptothrix* встречаются в рудных пластах, потому что там много железа, а не наоборот; вам же придется раскручивать всю цепочку в обратном направлении.

– Немедленно наладим программу исследования образцов почвы мы, – возбужденно проговорил Штекса. Бородака его стала светло-лиловой. – Ежемесячно центры по разработке антибиотиков наши тысячи образцов почвы исследуют в поисках микрофлоры, терапевтическое значение иметь могущей. Если действительно есть на Литии бактерии, железо концентрирующие, непременно обнаружим их мы.

– Должны быть. У вас встречаются облигатные анаэробные бактерии, которые концентрируют серу?

– Да... да, конечно!

– Вот, – произнес иезуит, удовлетворенно откидываясь и хлопая себя по коленям. – Серы у вас предостаточно – и соответствующих бактерий тоже. Пожалуйста, сообщите мне, когда обнаружите что-нибудь вроде *Leptothrix*. Я приготовлю субкультуру и заберу с собой на Землю. Очень хотелось бы ткнуть туда носом кое-кого из наших ученых мужей...

Литианин замер и вытянул шею – словно был крайне удивлен.

– Прошу прощения, – торопливо поправился Руис-Санчес. – Это я дословно перевел одну нашу довольно агрессивную идиому. На самом-то деле ни о каком реальном действии речь не шла.

– Кажется, понял я, – протянул Штекса; у Руис-Санчеса были основания усомниться в этом: обнаружить в литианском языке метафор ему до сих пор так и не удалось – ни активно употребляемых, ни отмерших; кстати, ни поэзии, ни вообще искусств у литиан тоже не было. – Разумеется, разумеется, любыми результатами программы этой воспользоваться можете вы; честь для нас будет это. Много лет уже не может проблему разрешить наука социальная наша, как новатору должное воздать. Подумаешь когда, как изменяют жизнь нашу идеи новые, в отчаяние приходишь, что адекватно не ответить; и хорошо очень, коль у новатора самого пожелания есть, кои общество удовлетворить может.

Руис-Санчесу показалось, что он неправильно понял. Еще раз прокрутив в мозгу услышанное, он осознал, что просто неспособен так вот, с ходу проникнуться подобной идеей – хотя сама по себе та и выше всяких похвал. В устах землянина то же самое прозвучало бы до тошноты напыщенно – но Штекса-то был искренен.

Может, оно и к лучшему, что комиссии вот-вот пора представлять отчет. А то Руис-Санчесу начинало казаться, что еще чуть-чуть – и от этого бесстрастного здравомыслия его начнет мутить. «А здравомыслие это, – кольнула тревожная мысль, – происходит от голого рассудка; но не от заповедей, не от веры». Бог литианам был неведом. Они поступали как должно и были добродетельны в помыслах, потому что поступать и мыслить так было для них разумнее, естественнее, эффективней. А большего, кажется, им и не требовалось.

Неужели никогда не тревожат их мысли ночные? Да найдется ли во вселенной хоть одно высокоразумное существо, у которого хоть на мгновение не перехватывало бы дух от ужаса внезапного осознания тщеты всего сущего, слепоты любого учения, бесплодности жизни как таковой? «Лишь на прочном фундаменте неукротимого отчаяния, – писал некогда один знаменитый атеист, – допустимо возводить надежную для души обитель, отныне и вовек».⁹

Или, может быть, литиане думали и поступали именно так, потому что, не происходя от человека, а, значит, вообще говоря, так и не покинув Райского сада, не разделяли с человечеством тяжкой ноши первородного греха? Вряд ли бдительному теологу следовало игнорировать тот факт, что за всю геологическую историю на Литии не было ни одного ледникового периода, что вот уже семьсот миллионов лет климат оставался неизменным. Но если они неотягощены первородным грехом, тогда, может, и от проклятия Адама свободны?

А коли так – под силу ли человеку среди них жить?

– Штекса, мне хотелось бы вас кое о чем расспросить, – заговорил священник после недолгого раздумья. – Вы никоим образом передо мной не в долгу: всякое знание считается у нас общим достоянием; однако нам, четверым землянам, в ближайшее время предстоит принять непростое решение. Вы в курсе, о чем идет речь. И, мне кажется, мы еще слишком мало знаем о вашей планете, чтоб вынести решение достаточно обоснованно.

– Тогда, разумеется, вопросы задавайте, – немедленно откликнулся Штекса. – На какие смогу, отвечу я.

– Хорошо, в таком случае... Вы умираете? Слово «смерть» у вас в языке есть, но я не уверен, что оно значит то же, что и в нашем.

– Изменяться прекратить и к существованию вернуться означает оно, – произнес Штекса. – Машина тоже существует, но живой организм только – дерево, например – от одного равновесия изменчивого к другому развивается. Когда заканчивается развитие это, мертв организм.

– И с вами происходит так же?

– Со всеми происходит так. Даже деревья великие – Почтовое, скажем – умирают рано или поздно. Не так на Земле разве?

– Да, у нас все так же, – ответил Руис-Санчес. – Просто мне почему-то вдруг пришло в голову – слишком долго объяснять почему, – что вам это зло неведомо.

– Не зло это, с нашей точки зрения, – высказался Штекса. – Смерти благодаря живет Лития. Газа и нефти запасами обеспечивает смерть растений нас. Чтобы жили существа одни, всегда умирать другие должны. Если о том речь идет, чтобы болезнь вылечить, бактерии умереть должны, и вирусам жить позволить нельзя. Да и сами мы умирать должны – просто чтобы другим место освободить; по крайней мере, пока не сумеем мы рождаемость понизить – что невозможно по сей день.

– Но желательно, с вашей точки зрения?

– Безусловно желательно, – сказал Штекса. – Богат мир наш, но не истошим отнюдь. А на планетах других, как научили вы нас, другие живут народы. Так что не можем надеяться мы другие планеты заселить, когда перенаселенной окажется эта.

⁹ Бертран Рассел, «Философские эссе» (№ 2).

– Все сущее неистоимо, – резко отозвался Руис-Санчес, хмуро уставившись в искрящийся пол. – Этой истине мы выучились за нашу тысячелетнюю историю.

– В каком смысле неистоимо? – поинтересовался Штекса. – Согласен, мелочь любую: камешек, воды каплю, почвы комок – изучать бесконечно можно. В буквальном смысле бесконечен информации объем, что извлечь из них можно. Но почва та же самая нитратами обеднеть способна. Трудно это, но возможно – если бездарно совсем возделывать ее. Или возьмем железо, о котором говорили мы. Безумием было бы допустить, чтоб развился в экономике нашей на железо спрос, все известные литианские запасы превышающий – даже с учетом железа метеоритного и того, что ввозить могли бы мы. И не в информации дело тут. А в том, может ли быть использована информация или нет. Если нет, тогда и пользы никакой нет от бесконечного ее объема.

– Да, вы вполне могли бы обойтись и тем железом, что есть, – согласился Руис-Санчес – А точности работы ваших деревянных приборов позавидовал бы любой земной инженер. Да большинство их и не помнят, наверно, что когда-то и у нас было нечто похожее. Дома у меня есть образчик такого древнего искусства. Это своего рода механический прибор для измерения времени, «часы с кукушкой» называется; изготовлен примерно два наших века назад и без единой железной детали, не считая гирек, а точность хода – по сей день изумительная. И, кстати, еще долго после того, как металл стали всюю применять в судостроении, корабельные корпуса обшивались древесиной.

– В большинстве случаев материал превосходный – дерево, – согласился Штекса. – В том проблема только, что свойства непостоянны дерева, с керамикой сравнительно и, видимо, с металлом. Специалистом быть потребно, дабы чем ствол один от другого отличен, определить. Ну и конечно, в формах керамических выращивать детали сложные можно; столь высокое в форме давление, что плотной исключительно деталь в результате выходит. Детали крупные вытачивать можно песчаником мягким из досок непосредственно и сланцем шлифовать. Благодарный весьма материал этот для работы, считаем мы.

Почему-то Руис-Санчес вдруг почувствовал себя немного пристыженным. Это был тот же – только многократно усиленный – стыд, что ощущал он дома на Земле, глядя на часы с кукушкой, старый добрый «Шварцвальд». Все остальные, электрические часы на его гасиенде в пригороде Лимы могли бы, конечно, работать тихо, точно и занимать куда меньше места – да вот беда: при выпуске их принимались в расчет соображения не только технические, но и коммерческие. В результате большинство то пронзительно, астматически похрипывали, то принимались, когда вздумается, негромко, безнадежно постанывать. Очертаний все были исключительно современных, громоздки и страшны как смерть. Точность хода у всех поголовно, мягко говоря, оставляла желать лучшего; а те, которые выпускались с нерегулируемым электромоторчиком и простейшей «коробкой передач», по определению невозможно было подстроить – так они, бедные, и жили, на веки вечные обреченные отставать либо спешить.

А тем временем деревянные часы с кукушкой тикали себе и тикали. Каждые четверть часа распахивалась одна из деревянных створок, и выдвигался, звучно токуя, перепел; каждый час появлялся сперва перепел, а потом кукушка, и тихо звякал колокольчик – вместо традиционного «ку-ку». А полночь и полдень – это было не просто время суток; в полночь и в полдень разыгрывались целые представления. Отставали часы эти ну максимум на минуту в месяц; а что касается завода, то достаточно было раз в день, перед сном, потянуть за три гирьки.

Мастер, изготовивший часы, умер задолго до рождения Руис-Санчеса. А за свою жизнь священник успеет купить и выбросить, по меньшей мере, дюжину дешевых электрических поделок, чего производители их, собственно, и добивались; тенденция эта напрямую вела свое происхождение от «методики запланированного устаревания» – мании намеренно сокращать срок службы вещей, которая охватила американский континент во второй половине прошлого века.

– Воистину очень благодарный... – тихо проговорил Руис-Санчес. – У меня еще один вопрос, если позволите. Скорее даже, продолжение предыдущего вопроса. Я спрашивал, умираете ли вы; теперь я хотел бы спросить, как вы рождаетесь. На улице я вижу много взрослых литиан, иногда и в окнах домов тоже – хотя вы, насколько я понимаю, живете один... Но я ни разу не видел ни одного ребенка. Не объясните, в чем тут дело? Если, конечно, тема эта дозволена к обсуждению...

– Дозволена, конечно, дозволена, – отозвался Штекса. – Закрытых не может быть тем. Как, несомненно, в курсе вы, сумки брюшные у женщин есть наших, где яйца носят. Мутация такая полезной оказалась весьма: немало хищников на Литии, гнезда разоряющих.

– Да, на Земле тоже встречаются сумчатые животные – правда, живородящие.

– Раз в год пора приходит яйца откладывать, – продолжал Штекса. – Покидают дома свои тогда женщины наши и мужчин выбирают, оплодотворить яйца дабы. Один пока что я, ибо в сезоне этом не остановил никто на мне выбор первый свой; для брака второго выберут меня, завтра произойдет это.

– Понимаю... – осторожно протянул Руис-Санчес. – А чем определяется выбор? Эмоциями или только разумом?

– Одно и то же это в итоге конечном, – ответил Штекса. – Не оставляли потребности генетические на волю случая предки наши. Эмоции наши не противоречат более знанию естественному. И не могут противоречить, ибо сами изменению подверглись в процессе селекции тщательной, дабы действовать сообразно знанию этому... Наступает в конце сезона День миграции. Оплодотворены уже яйца все к моменту сему и лупиться готовы. В день этот – не дождетесь вы его, опасаясь я, раньше улетаете вы – на берег морской выходит народ весь наш. От хищников охраняют мужчины женщин, и заходят женщины в воду, где поглубже, и детей рожают.

– В море? – слабеющим голосом переспросил Руис-Санчес.

– В море, да. А потом возвращаемся все мы к делам будничным нашим, до следующего сезона брачного.

– А дети... что потом с детьми?

– Ну как же, сами о себе заботятся они, как сумеет кто. Гибнут многие, конечно, собрату прожорливому нашему рыбащери достаются – которого из-за этого бьем мы нещадно, можем когда. Но домой большинство возвращаются, время когда приходит.

– Возвращаются? Штекса, я ничего не понимаю! Почему они не тонут при рождении? И если возвращаются, почему мы ни одного не видели?

– Видели, – отозвался Штекса. – Того более, слышали, и часто весьма. Неужели сами вы... Ах да, млекопитающие вы, вот сложность в чем. В гнезде остаются дети ваши; знаете их вы, и знают они родителей.

– Да, – повторил Руис-Санчес, – мы их знаем, и они нас тоже.

– Невозможно у нас это, – сказал Штекса. – Пойдемте, покажу я.

Он поднялся и вышел в прихожую. Руис-Санчес последовал за ним; от догадок, одна другой нелепей, голова шла кругом.

Штекса отворил дверь. Ночь, с оступелым потрясением отметил священник, была уже на исходе; облака на востоке мерцали слабым-слабым жемчужным отблеском. Джунгли все так же певуче, многообразно гудели. Раздался пронзительный, с шипением свист, и над городом в сторону моря поплыла тень птеранодона. Далеко на воде крошечное бесформенное пятнышко – не иначе как литианский гидроплан – поднялось над волнами и пролетело ярдов, наверно, шестьдесят, прежде чем снова взрезать тяжелую маслянистую зыбь. Из илистых низин доносился хриплый, кашляющий лай.

– Вот, – тихо произнес Штекса. – Слышали вы?

Та же тварь на отмели – или другая такая же – снова раскатисто скрипнула, явно сетуя на грусть и одиночество.

– Конечно, трудно вначале им, – сказал Штекса. – Но позади худшее уже. Вышли на берег они.

– Штекса... – проговорил Руис-Санчес. – Ваши дети – это земноводные рыбы?!

– Да, – сказал Штекса, – это дети наши.

V

В конечном-то счете именно из-за неумолчного лая земноводных рыб он и хлопнулся в обморок, когда Агронски отворил дверь. «Помогло» и то, что Руис-Санчес столько времени был на ногах; и двойная нервотрепка из-за болезни Кливера вкупе с открытием, что тот лгал, причем беззастенчиво; и чувство вины по отношению к Кливеру, возраставшее с каждым шагом дороги домой под светлеющим, слезящимся небом; и, конечно, потрясение от появления Микелиса с Агронски, прилетевших, пока он ради удовлетворения любопытства пренебрегал врачебным долгом.

Но в основном дело было в придушенно стихающем к утру гомене детей Литии, что всю дорогу от Штексы молотил, будто стенобитные орудия, в бастиионы, с превеликим тщанием возведенные Руис-Санчесом у себя в мозгу.

Обморок длился буквально несколько секунд. Когда священник очнулся, Агронски с Микелисом уже усадили его на табурет посреди лаборатории и пытались стянуть с него плащ, да так, чтобы, не дай бог, не разбудить или потревожить, – топологическая задача той же сложности, что снять жилетку, не снимая пиджака. Священник устало извлек руку из рукава плаща и поднял взгляд на Микелиса.

– Доброе утро, Майк. Прошу прощения за безобразное поведение.

– Не глупи, – бесстрастно сказал Микелис – И вообще, лучше помолчи пока. Хватит с меня того, что Кливера полночи утихомиривал. Честное слово, Рамон, с меня хватит.

– Но я-то здоров. Просто немного подустал.

– Что такое с Кливером? – вмешался Агронски. Микелис собрался было шикнуть на него, но Руис-Санчес произнес:

– Нет-нет, Майк, вопрос вполне законный. Честное слово, со мной все в порядке. А что касается Пола, то он напоролся сегодня в лесу на какой-то шип и заработал гликозидное отравление. То есть какое сегодня – вчера. И как он там при вас?

– Плохо, – ответил Микелис. – Тебя не было, и мы никак не могли решить, что ему дать. В конце концов остановились на таблетках, которые ты наштамповал, дали две штуки.

– Да? – Руис-Санчес тяжело спустил ноги на пол и попытался встать. – Ладно, вы же действительно не знали... передозировочка, в общем, вышла. Пойду-ка взгляну на него...

– Рамон, сядь, пожалуйста, – произнес Микелис, не повышая голоса, но с безошибочно командирскими интонациями. Испытывая смутное облегчение, священник позволил усадить себя назад на табурет. Соскользнули с ног сапоги.

– Майк, кто у нас, собственно, святой отец? – устало поинтересовался он. – Впрочем, не сомневаюсь, ты сделал все как надо. Как там он, по-твоему, совсем плох?

– Seriously болен, скажем так. Но его хватило на то, чтобы целую ночь сопротивляться всем нашим попыткам уложить его. Заснул буквально только что.

– Хорошо. Пускай поспит. Потом, пожалуй, надо будет ввести ему внутривенное. В здешней атмосфере салициловая передозировка так просто с рук не сходит. – Он вздохнул. – Я лягу спать в соседний гамак и, если какой кризис случится, буду наготове. Так. Может, с расспросами пока хватит?

– Ну, если остальное все путем...

– Какое там путем... – вздохнул Руис-Санчес, – все наоборот.

– Так я и знал! – взвился Агронски. – Черт побери, так я и знал! Майк, что я говорил?

– Что-нибудь срочное?

– Нет, Майк, нам ничего не угрожает, в этом я уверен. По крайней мере, дело терпит; а отдохнуть всем явно не мешало бы.

– Это точно, – согласился Микелис.

– Но почему вы ни разу не вышли на связь? – с упреком в голосе воскликнул Агронски. – Святой отец, вы нас до полусмерти перепугали. Если тут что-то неладно, надо было...

– Непосредственной опасности нет, – терпеливо повторил Руис-Санчес. – Что до того, почему мы ни разу не вышли на связь, для меня это не меньшая загадка, чем для вас. До вчерашнего вечера я был уверен, что мы с вами в постоянном контакте. За связь отвечал Пол, и я думал, все в порядке. Пока он не заболел.

– Значит, надо ждать, пока он выздоровеет, – подытожил Микелис – А теперь, ради всего святого, давайте наконец-то уляжемся. Две с половиной тысячи миль на нашей железной пташке да сквозь сплошной туман – как-то оно довольно утомительно вышло. Эх, с каким удовольствием я сейчас... Вот только, Рамон...

– Да, Майк?

– Я хочу сказать, мне это нравится не больше, чем Агронски. Ладно, утро вечера мудренее... то есть в данном случае наоборот. Короче, чтобы вынести решение, осталось от силы дня полтора – а там уже корабль прилетит, и прости-покой; к этому моменту мы должны знать о Литии все – и решить, что докладывать на Земле.

– Да, – произнес Руис-Санчес. – Совершенно верно, Майк: именно что ради всего святого.

Перуанец-биолог-священник проснулся первым; строго говоря, физически он устал меньше прочих. За окошком только начинало смеркаться; он выбрался из гамака и прошлепал взглянуть на Кливера.

Физик был в коме. Лицо его посерело и казалось каким-то усохшим. Самое время Руис-Санчесу заняться искуплением вчерашних прегрешений. К счастью, пульс и дыхание у Кливера были близки к норме.

Стараясь ступать как можно тише, Руис-Санчес проследовал в лабораторию и приготовил для физика раствор фруктозы. Для остальных он развел в тигле что-то вроде суфле из яичного порошка, прикрыл крышкой и задвинул в духовку.

В спальне священник собрал стойку для внутривенного питания. Когда игла впилась в большую вену чуть выше сгиба локтя, Кливер даже не вздрогнул. Руис-Санчес закрепил капельницу, проверил, хорошо ли поступает раствор из перевернутой бутылки, и вернулся в лабораторию.

Там он сел на табурет перед микроскопом и позволил себе немного отключиться. Темнело. Усталость еще чувствовалась, но борьба со сном не требовала уже таких постоянных усилий. Судя по причмокиванию, глуховато доносящемуся из духовки, суфле начинало подниматься; а вскоре, судя по еле-еле повеявшему аромату, и подрумяниваться – или, по крайней мере, серьезно подумывать о том, что уже пора бы.

Снаружи внезапно разразился ливень. И так же внезапно прекратился. Заканчивалось короткое жаркое литианское лето; зима на этой широте будет долгой и теплой, не холоднее плюс двадцати по Цельсию. Даже на полюсах зимняя температура не опускалась ниже плюс пятнадцати.

– Рамон, это, часом, не завтрак?

– Да, Майк, уже в духовке; через пару минут будет готов.

– Прекрасно.

Микелис опять вышел. Взгляд Руис-Санчеса остановился в дальнем углу лабораторного стола, на темно-синей книге с золотым тиснением по корешку, которую ему было не лень тащить аж с Земли. Почти машинально он придвинул книгу к себе, и почти машинально та раскрылась на странице 573. Что ж, это хоть даст пищу для размышлений несколько более абстрактных.

В прошлый раз он остановился на том, что Анита «... уступила бы похотливым домогательствам Онуфрия, дабы утихомирить свирепого Суллу и двенадцать его наемников, а также (как с самого начала предполагал Гильберт) сберечь невинность Фелиции для Магравия...» – нет, секундочку, как это Фелиция может до сих пор считаться девственницей? А, «... когда Михаэль обратил ее в истинную веру после смерти Гиллии»; тогда понятно, раз с самого начала она была виновна не более чем в супружеской неверности... «... Но она опасается, что, позволив реализоваться его супружеским правам, даст повод для предосудительного поведения Евгения с Иеремией. Михаэль, ранее соблазнивший Аниту, освобождает ее от данной Онуфрию клятвы...» – да, понятно, ведь на Евгения у Михаэля были свои виды. «Анита обеспокоена, однако Михаэль грозит возложить завтрашнее рассмотрение ее дела на рядового Гийома, даже пойдя она при аффрикатировании на обман из благочестия, что, как известно по опыту (согласно Уоддингу), приведет к объявлению брака недействительным».

Хорошо. Очень хорошо. Кажется даже, впервые за все время чтения начала складываться определенная картинка; очевидно, автор все-таки прекрасно представлял себе, что делает, каждый шаг. «Нет, – размышлял Руис-Санчес, – не хотелось бы мне лично знать эту семейку «латинян» или исповедовать кого-нибудь из них».

Да, роман начинал смотреться довольно складно – если достаточно бесстрастно подходить к действующим лицам (которые всего лишь вымышленные персонажи, в конце концов) или к автору (который – величайший ум в английской, а может, и в мировой литературе – достоин сочувствия, как и самая ничтожная из жертв Дьявола). Видеть роман как он есть, в своего рода сером тумане чувств, где всё – даже подобные кляпу комментарии, что роман выбрал еще с 1920-х, – представляется в одинаковом свете.

- Святой отец, завтрак готов?
- Судя по запаху, да. Можешь раскладывать, Агронски.
- Спасибо. Кливера поднять?..
- Нет, он сейчас под капельницей.
- Понял.

Если только впечатление, что он сумел наконец правильно постичь суть проблемы, не окажется опять обманчивым, теперь он готов ответить на основной вопрос, столько десятилетий служивший камнем преткновения для ордена и церкви. Он внимательно перечитал вопрос. Тот гласил:

«Властен ли он приказать и должна ли она подчиниться?»

К своему удивлению, он впервые заметил, что на самом-то деле это два вопроса – несмотря на отсутствие запятой. Значит, и ответов должно быть два. Властен ли Онуфрий приказать? Да, потому что Михаэль – единственный из всех, первоначально наделенный благодатью, – безнадежно себя скомпрометировал. Так что никто не мог – вне зависимости от того, имели место в действительности тяжкие прегрешения Онуфрия, или это все одни слухи – лишить его положенных привилегий.

Но должна ли Анита подчиниться? Нет, не должна. Михаэль утратил право каким бы то ни было образом отправлять правосудие, да и приостанавливать его отправление тоже; так что в конечном итоге Аните не следует руководствоваться ни указаниями викария, ни чьими-либо еще – только собственной совестью; а с учетом суровых обвинений, выдвинутых против Онуфрия, ей ничего не остается, кроме как его отвергнуть. Что до раскаяния Суллы и обращения

Фелиции, это не значило ровным счетом ничего, поскольку отступничество Михаэля лишило их – да и всех остальных – духовного наставника.

Так что ответ-то был очевиден все время. А именно: да – и нет.

И все зависело лишь от поставленной – или не поставленной – в нужном месте запятой. Шутка писателя. Демонстрация того, что один из величайших романистов всех времен и народов может посвятить семнадцать лет книге, центральная проблема которой – где поставить запятую; вот как подчас маскирует пустоту свою враг рода человеческого – и опустошает приверженцев своих.

Руис-Санчес с содроганием захлопнул книгу и глянул поверх лабораторного стола; перед глазами плыл тот же серый туман, что и раньше, не светлее и не темнее – но глубоко изнутри прорывалось радостное возбуждение, подавить которое было ему не под силу. В извечной борьбе Врагу нанесено очередное поражение.

Устало, заторможенно глядел он сквозь окно в сочащуюся влагой черноту – и вдруг в усеченном прямоугольнике желтого света, отбрасываемом на стену дождя, мелькнула знакомая, будто из камня вырубленная голова. Руис-Санчес, вздрогнув, опомнился. Это был Штекса, и он уже удалялся.

Вдруг Руис-Санчес вспомнил, что никто не позаботился стереть надпись с таблички у входа. Если Штекса приходил по делу, назад он повернул совершенно зря. Священник схватил со стола пустую коробочку из-под предметных стекол и забарабанил ею по стеклу.

Штекса обернулся и сквозь струящуюся занавесь дождя глянул в окно; мигательная перепонка прикрывала глаза его от потоков воды. Руис-Санчес кивком пригласил литианина заходить, одеревенело поднялся с табурета и побрел открывать дверь.

Оставленный ему в духовке завтрак окончательно обуглился.

Заслышав стук в стекло, явились Агронски и Микелис. С природной, ненапускной серьезностью Штекса сверху вниз оглядел троих землян; тяжелые маслянистые капли воды сбегали по призмочкам, из которых складывалась его мягкая мелкочешуйчатая кожа.

– Не знал я, что больной здесь, – произнес литианин. – Пришел я, так как утром сегодня из дома моего брат ваш Руис-Санчес без подарка ушел, который надеялся я вручить ему. Готов уйти я, если нарушил как-либо уединение ваше.

– Никоим образом, – заверил его священник. – А болезнь – это всего лишь отравление, незаразное и не очень опасное. Познакомьтесь, Штекса, это мои друзья с севера, Микелис и Агронски.

– Счастливы видеть их я. Значит, дошло сообщение?

– Какое еще сообщение? – спросил Микелис на своем чистом, но не очень уверенном литианском.

– Вечером вчера просил меня сообщение послать collega ваш Руис-Санчес. В Коредещ-Гтоне сказали мне, что улетели уже вы.

– Так все и было, – подтвердил Микелис. – Рамон, что это значит? Насколько я помню, ты говорил, что за связь отвечает Пол. И ты явно имел в виду, что не знал, как она работает, когда Пол заболел.

– Не знал. И до сих пор не знаю. Я попросил Штексу послать сообщение за меня; о чем он и говорил.

Микелис снизу вверх глянул на литианина.

– И что было в сообщении? – поинтересовался он.

– Чтоб вылетали в Коредещ-Сфат вы. И что время ваше на планете к концу подходит.

– О чем речь? – спросил Агронски. Он пытался следить за разговором, но его лингвистических способностей явно не хватало; а те несколько слов, что удалось разобрать, только подогрели его страхи. – Майк, переведи, пожалуйста.

Микелис вкратце изложил суть дела.

– Рамон, – обратился затем химик к Руис-Санчесу, – а больше ты ничего не хотел нам сообщить? Особенно после всего, что выяснилось? В конце концов, мы тоже были в курсе, что скоро пора улетать; и с календарем обращаться умеем...

– Понимаю, Майк, понимаю. Но я же понятия не имел, какие из предыдущих сообщений до вас дошли – и дошли ли хоть какие-то. Сначала я думал, может, у Кливера есть свой личный канал связи, радиоприемник там какой-нибудь... Потом мне пришло в голову, что гораздо легче было бы передавать сообщения с трансконтинентальными рейсовиками. Кливер ведь мог передать вам, скажем, будто мы задержимся на Литии дольше намеченного; или что меня убили, а он разыскивает убийцу... да все, что угодно. Мне надо было принять все возможные меры к тому, чтобы вы прибыли сюда в любом случае, вне зависимости от того, что там сообщал вам Кливер или не сообщал... А когда я добрался до местной почты, сообщать пришлось на ходу и быстро; выяснилось, что непосредственно связаться с вами я не могу – равно как и послать подробное сообщение, потому что наверняка оно исказилось бы до неузнаваемости при переводе с английского на литианский и обратно. Все радиосообщения отправляются из Коредеш-Сфата только через Почтовое дерево – а кто не видел, что это такое, даже вообразить не может, какие трудности предстоят землянину, если надо отправить пусть даже самое простенькое сообщение.

– Это правда? – поинтересовался у Штексы Микелис.

– Правда? – переспросил Штекса. Он явно пребывал в замешательстве; всю бородку его испещрил яркий пунктирный узор. Хотя Руис-Санчес и Микелис перешли на литианский, кое-какие слова, в литианском просто не существовавшие («убийца», скажем), им приходилось вставлять по-английски. – Правда? Не понимаю. Насколько верно это, имеете в виду вы? О том судить лучше вам.

– Но это соответствует истине?

– Насколько знаю я, – отозвался Штекса, – соответствует.

– Так вот, – продолжил Руис-Санчес, стараясь подавить раздражение в голосе, – теперь вы понимаете, почему, когда Штекса волею судеб появился в Дереве, узнал меня и предложил свои услуги, мне пришлось сократить послание до минимума. Объяснять все подробности было бы без толку, а на то, что они доберутся до вас в неискаженном виде, пройдя, как минимум, через двоих литианских посредников, явно не стоило и надеяться. Все, что я мог, это крикнуть как можно громче, чтоб вы прилетали вовремя, и надеяться, что вы услышите.

– Беда настала, – вдруг проговорил Штекса, – и болезнь пришла. Уйти должен я. Случись со мной беда, желал бы я, чтоб оставили в покое меня – и не могу рассчитывать на это я, коль присутствие навязываю свое тем, беда у кого. В другой раз принесу я подарок свой.

По-утиному втянув голову в плечи, он выскользнул в дверной проем – не попрощавшись ни словом, ни жестом, но оставив витать в воздухе тамбура едва ли не физическое ощущение безграничного милосердия. Беспомощно и как-то потерянно глядел Руис-Санчес вслед удаляющейся фигуре. Казалось, литиане всегда правильно понимают ситуацию, до самой сути; в отличие даже от самых самонадеянных землян, сомнения не посещали их вообще никогда. Равно как и ночные мысли. И угрызения совести не мучили.

А что удивительного? Ведь они ощущали поддержку (если Руис-Санчес не ошибался) второго – после первейшего – авторитета во Вселенной, причем поддержку прямую, безо всякого церковного посредничества, без расхождения в интерпретациях. Тот самый факт, что в способности сомневаться им отказано, однозначно отождествлял их с порождениями авторитета номер два. Только божьим детям дарована свободная воля – и сомнения.

И все равно Руис-Санчес постарался б оттянуть уход литианина, если бы смог. В коротком споре полезно иметь на своей стороне чистый разум – хотя если полагаться на такого союзника слишком долго, тот не преминет нанести удар, причем прямо в сердце.

– Пошли в дом, обмозгуем, – высказался Микелис, захлопнул дверь и направился в гостиную. По инерции он сказал это по-литийски и, прежде чем перейти на английский, криво усмехнулся, покосившись на дверь. – Хорошо хоть поспать немного удалось. Но до посадки корабля времени остается всего ничего; мы рискуем не успеть подготовить официальное решение.

– Но как мы можем что-то обсуждать! – запротестовал Агронски, секундой раньше послушно проследовавший за Микелисом в гостиную вместе с Руис-Санчесом. – О каком вообще решении речь, если не заслушать Кливера? В нашей работе ценен каждый голос.

– Трудно не согласиться, – кивнул Микелис. – Мне вся эта кутерьма нравится ничуть не больше, чем тебе, я это уже говорил. Похоже, правда, выбора у нас нет. А ты, Рамон, что скажешь?

– Честно говоря, я бы предпочел подождать, – ответил Руис-Санчес. – Будем смотреть на вещи здраво: что б я ни сказал, все равно вам это будет хоть немного, да подозрительно. И, пожалуйста, не надо говорить, будто вы на сто процентов уверены в моей честности – в Кливере мы тоже были уверены. Обе уверенности, так сказать, взаимоликвидируются.

– Рамон, у тебя отвратительная привычка говорить вслух то, о чем другие думают втихомолку, – слабо усмехнувшись, произнес Микелис. – Ну и что ты можешь предложить?

– Ничего, – признался Руис-Санчес – Как ты сам говорил, время работает против нас. Придется начинать обсуждение без Кливера.

– Ни в коем случае!!!

Голос, раздавшийся из дверей спальни, звучал слабо и болезненно-хрипло.

Все повскакали с мест. Кливер в одних шортах застыл в дверном проеме, уцепившись за притолоку. На локтевом сгибе Руис-Санчес разглядел след от содранного пластыря – там, где входила игла для внутривенного питания; под серовой кожей уродливо вздулась синяя гематома.

VI

(Немая сцена).

– Пол, да ты вообще с ума сошел, – рассерженно выговорил наконец Микелис. – А ну, забирайся назад в гамак, пока совсем не поплохело. Ты же болен, не понимаешь, что ли?

– Не так болен, как кажется, – отозвался Кливер, жутковато скалясь. – На самом деле самочувствие у меня уже довольно сносное. Воспаление во рту почти прошло, да и лихорадить перестало. И разрази меня гром, если комиссия продвинется хоть на один чертов дюйм без меня. У вас нет на это права, и я опротестую любое – слышите, парни? Любое! – решение, которое вы без меня примете.

Комиссия внимала; уже включился магнитофон, и тихо сматывалась пленка на герметично опечатываемую катушку. Микелис и Агронски вопрошающе поглядели на Руис-Санчеса.

– Что скажешь, Рамон? – сдвинув брови, поинтересовался Микелис, временно отключив магнитофон. – Это не опасно?

Руис-Санчес уже изучал Кливерову ротовую полость: почти все язвочки действительно зарубцевались, а немногие оставшиеся начали затягиваться молодой тканью. Глаза у Кливера чуть слезились (значит, заражение крови еще сказывается), но в остальном от вчерашнего отравления не осталось и следа. Вот выглядел Кливер и впрямь ужасно, что да, то да – впрочем, совершенно естественно для человека, который совсем недавно валялся пластом и без оглядки пережигал белок собственных клеток. Что касается гематомы, с той управится холодный компресс.

– Ну, если уж очень хочется рисковать своей жизнью, такое право у него есть – по крайней мере, косвенно, – проговорил Руис-Санчес. – Пол, в первую очередь ты должен куда-нибудь сесть, надеть теплый халат и укутать ноги. Потом тебе надо поесть, сейчас я что-нибудь сготовлю. На поправку ты пошел удивительно быстро, но у тебя еще имеются все шансы подхватить настоящую инфекцию.

– Согласен на компромисс, – быстро сказал Кливер. – Героя строить не собираюсь, просто хочу, чтоб меня выслушали. Кто-нибудь, помогите мне дойти вон до той кушетки. На ногах я как-то еще не слишком твердо держусь.

Суэта вокруг Кливера длилась добрых полчаса, пока Руис-Санчес не соизволил высказать удовлетворение. Физику – судя по кривоватой усмешке – это, кажется, даже нравилось. В конце концов, ему вручили кружку гштгыта – местного чая на травах, восхитительно вкусного, причем настолько, что в ближайшем будущем у того были все шансы стать главной статьей экспорта.

– Ну ладно, Майк, врубай шарманку, и поехали, – произнес Кливер.

– Ты уверен? – поинтересовался Микелис.

– На сто процентов. Врубай, черт побери.

Микелис повернул ключ, вытащил и положил в карман. Пошла запись.

– Хорошо, Пол, – сказал он. – Ты из кожи вон лез, лишь бы оказаться в центре внимания. Трудно не согласиться, тебе это удалось. Колись, короче: почему на связь не выходил?

– Не хотелось.

– Секундочку, секундочку, – вмешался Агронски. – Пол, не забывай, идет запись; совершенно необязательно пускаться с места в карьер и выпаливать первое, что взбредет. Согласен, речевые центры у тебя вполне пришли в норму, но это ж еще не повод... Может, ты ни разу не подавал вестей, потому что не сумел освоить связь через... как его... Дерево?

– Нет, дело не в этом, – стоял на своем Кливер. – Спасибо, конечно, Агронски, за заботу, но нечего выдумывать за меня алиби всякие. Я сам прекрасно помню, что там у меня было не того; да и поздноватое как-то уже правдоподобное алиби сочинять. Конечно, контролирую я полностью свои действия, все было бы шито-крыто. Но из-за этого ананаса чертова все пошло прахом. Я понял это ночью, когда сопротивлялся как одержимый, лишь бы переговорить с вами до возвращения святого отца; однако не выгорело.

– Сейчас ты к этому относишься уже довольно спокойно, – заметил Микелис.

– Ну, как тебе сказать... конечно, я лопухнулся. Но я реалист. К тому же, Майк, у меня были чертовски веские причины делать то, что делал. Надеюсь, вы еще согласитесь со мной, когда я все объясню.

– Ладно, – сказал Микелис – Валяй.

Кливер привалился к стенке и сложил руки на коленях. Вид у него стал немного торжественный, едва ли не библейский. Ситуация явно была ему по вкусу.

– Во-первых, как я уже сказал, на связь я не выходил, потому что не хотелось. Разобраться с Деревом можно было бы достаточно просто – так же, как сделал святой отец, например, – то есть попросить переправлять сообщения кого-нибудь из змей. Конечно, болтать по-змеиному я не умею, но можно было бы попросить помочь святого отца – а тогда пришлось бы посвящать его в мои планы. А поскольку это отпадало, оставалось разве что попробовать освоить Дерево непосредственно. Теперь-то я знаю все технические сложности, с какими пришлось бы столкнуться. И подожди, Майк, пока ты это Дерево не увидишь. По сути, это однопереходный транзистор, где полупроводник – офигенная кристаллическая глыба под корнями; кристалл – пьезоэлектрический, и всякий раз, как корни на него давят, испускает радиоизлучение. Это что-то совершенно фантастическое; ничего похожего нет во всей Галактике, готов биться об заклад... Короче: я хотел, чтобы между вами и нами возник барьер; чтобы вы не имели ни малейшего представления, что происходит здесь, на побережье. Я хотел, чтобы вы вообразили

себе худшее и – если все пройдет, как задумано – стали бы обвинять змей. А когда вы сюда, в конце концов, прилетели б – если прилетели б, – я постарался бы подать все так, будто это змеи не позволяли мне выходить на связь. Я даже подготовил несколько «доказательств», чтобы вы на них сами наткнулись... ладно, теперь-то какая разница. Но, уверен, смотрелось бы все убедительно – как бы там святой отец из кожи вон ни лез, убеждая вас в обратном.

– Подумай хорошенько, может, запись все-таки выключить? – негромко поинтересовался Микелис.

– Да выбрось ты этот чертов ключ и слушай внимательно, что я говорю. Как по-моему, так стыдоба просто, что в последний момент я напоролся на ананас этот хренов. Тут-то у святого отца и возник шанс что-то разнюхать. Клянусь, не подкосило бы меня, он так ничего и не узнал бы до самого до вашего прилета – а там уже было бы поздно.

– Так-то оно, может, и так, – проговорил Руис-Санчес, не сводя с Кливера немигающего взгляда. – Но никакая это не случайность, что ты напоролся на свой «ананас». Не трать ты все время на выдумывание какой-то своей Литии, а изучай планету как следует – зачем тебя, собственно, и посылали, – ты б уже достаточно знал, чтобы не напарываться на «ананасы» там всякие. По крайней мере, мог бы уже говорить по-литиански; хотя бы не хуже Агронски.

– Может, оно, конечно, и так, – отозвался Кливер. – Но мне-то опять же без разницы. Что до изучения планеты, то я обнаружил самый главный факт, с лихвой перекрывающий все прочие, и этого должно быть достаточно. В отличие от тебя, Рамон, когда прижмет, я не отвлекаюсь на всякие там благоглупости по мелочи; к тому же после драки кулаками не машут.

– Давайте только не будем переходить на личности, рановато еще как-то, – вступил Микелис. – Историю свою ты рассказал, и безо всяких прикрас – значит, наверно, должна быть какая-то причина, что ты так вот взял все и выложил. Рассчитывать на прощение – или хотя бы на не слишком суровое осуждение – можешь, только если назовешь причину. Давай, колись.

– Дело вот в чем... – произнес Кливер и впервые несколько оживился. Он подался вперед (в мерцающем газовом свете резко выступили скулы, по сравнению с зияющими провалами щек) и наставил чуть подрагивающий палец на Микелиса. – Майк, ты вообще представляешь себе, на чем мы тут сидим? Для начала, хотя бы – ты в курсе, сколько тут рутила?¹⁰

– В курсе, конечно, – ответил Микелис. – Агронски рассказывал, сколько тут чего. С того времени я только и ломал голову, как бы обогащать руду прямо здесь. Если мы проголосуем за то, чтобы планету открыть, наши проблемы с титаном будут решены на век вперед; если не на дольше. То же самое я изложу в своем персональном отчете. Ну и что с того? Гипотеза такая была еще до посадки, чисто из дистанционных измерений планетарной массы.

– А как насчет пегматита? – вкрадчиво поинтересовался Кливер.¹¹

– Что значит «как»? – озадаченно переспросил Микелис – Полагаю, его тут более чем достаточно – правда, руки проверить у меня так и не доходили. Титан – да, это важно; но литий... Для ракетного топлива его уже лет пятьдесят как не используют.

¹⁰ Рутит – минерал, наиболее устойчивая полиморфная модификация двуокиси титана (TiO₂). Встречается в виде призматических или игольчатых кристаллов.

¹¹ Пегматит – залегающая в виде жил, линз и гнезд светлая крупнозернистая магматическая горная порода, по физическим свойствам аналогичная граниту. Используется в качестве сырья при производстве керамики. При чем тут литий – не совсем ясно: в составе пегматита встречаются E, Br, Cl, однако Li при этом как-то не упоминается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.